



Бернхард ШЛИНК

ВНУЧКА

Большой роман

Бернхард Шлинка

Внучка

«Азбука-Аттикус»

2021

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Шлинк Б.

Внучка / Б. Шлинк — «Азбука-Аттикус», 2021 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-22524-4

Впервые на русском последний роман Бернхарда Шлинка, автора прославленного «Чтеца», пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени. Каспар и Биргит прожили вместе всю жизнь. Много лет назад она бежала к нему из Восточного Берлина в Западный, навстречу любви и свободе. Однако лишь теперь, на склоне лет, Каспару суждено было узнать о цене, которую Биргит пришлось заплатить за свое бегство. Однажды, вернувшись домой, Каспар обнаруживает жену в ванной. Она покончила с собой. В поисках ответов Каспар погружается в прошлое женщины, которую, как ему казалось, он хорошо знал. Одни вопросы порождают другие, расследование Каспара приводит его в странные, мрачные места, где прошлое вновь возрождается к жизни...

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-22524-4

© Шлинк Б., 2021
© Азбука-Аттикус, 2021

Содержание

Часть первая	7
1	7
2	9
3	11
4	13
5	16
6	18
7	20
8	22
9	25
10	28
11	30
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Бернхард Шлинк Внучка

Bernhard Schlink

DIE ENKELIN

Copyright © 2021 by Diogenes Verlag AG, Zürich

All rights reserved

© Р. С. Эйвадис, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

БОЛЬШОЙ
РОМАН

Бернхард
ШЛИНК
ВНУЧКА



Издательство «Иностранка»
Москва

Часть первая

1

Он пришел домой. Было уже десять часов. По четвергам его книжный магазин закрывался позже обычного, в девять, и он, опустив в половине десятого решетки на окнах и входной двери, пошел через парк. Этот маршрут был длиннее, но после долгого рабочего дня ему хотелось немного пройтись и подышать свежим воздухом. В запущенном, одичавшем парке клумбы с розами заросли плющом, живую изгородь из бирючины давно никто не подстригал. Зато здесь всегда так хорошо пахло: рододендронами или сиренью, липой или китайским ясенем, скошенной травой или сырой землей. Он ходил этой дорогой и зимой и летом, в хорошую и в плохую погоду. Пока он шел, все заботы и огорчения словно улетучивались, растворяясь в воздухе.

Он жил со своей женой в бельэтаже многоквартирного дома в стиле модерн, купленного пару десятилетий назад по смешной цене, которая за прошедшие годы выросла в несколько раз, так что теперь этот дом стал их надежной финансовой подушкой на старость. Широкая лестница, изогнутые перила, лепнина, обнаженная красавица, осеняющая своими длинными волосами каждый пролет, – он всегда с удовольствием входил в подъезд, поднимался по лестнице и открывал дверь с маленьким витражом в виде цветочных орнаментов. Даже когда знал, что ничего хорошего его за этой дверью не ждет.

В прихожей на полу лежало пальто Биргит, рядом – два небрежно брошенных полиэтиленовых пакета с продуктами. Дверь в гостиную была открыта. Ноутбук Биргит сполз с дивана на пол вместе с пледом, которым она любила укрываться. Рядом с бутылкой лежал опрокинутый бокал, на ковре темнела лужица вина. Одна туфля лежала на пороге, другая у кафельной печки. Видимо, Биргит по привычке раздраженно сбросила их на ходу.

Он повесил пальто в шкаф, поставил ботинки у комода и прошел в гостиную. Только теперь он заметил, что опрокинута и ваза с тюльпанами; осколки стекла и завядшие цветы лежали в луже рядом с роялем. Он прошел в кухню. Перед микроволновкой валялась пустая упаковка от риса с курицей, а в раковине стояла тарелка Биргит с недоеденным рисом и грязная посуда, оставшаяся от их совместного завтрака. Опять ему все это мыть, убирать осколки, вытирать лужи.

Он почувствовал, как в нем медленно поднимается холодная злость. Но это была усталая злость. Он слишком часто испытывал эти приливы и отливы гнева. Да и что он мог сделать? Утром, когда он выразит Биргит свое возмущение, она пристыженно и в то же время упрямо посмотрит на него, отвернется и потребует, чтобы ее оставили в покое, мол, она выпила чуть-чуть; что, ей уже и выпить нельзя? И это ее дело, сколько пить, а если ему не нравится, что она пьет, его никто не держит – скатертью дорога. Или разрыдается и начнет сама себя осуждать и унижаться, пока он не успокоит ее, не скажет, что любит ее, что она хорошая, что все хорошо.

Есть ему не хотелось. Он разогрел в микроволновке оставшийся рис и съел его за кухонным столом. Потом положил купленные продукты в холодильник, отнес бутылку и бокал в кухню, убрал осколки и цветы, побрызгал лимонным соком на винное пятно на ковре, закрыл ноутбук, сложил плед и вымыл посуду. К кухне примыкала маленькая комната – бывшая кладовая, переоборудованная в прачечную. Он вынул из стиральной машины белье и сунул его в сушилку, а содержимое корзины для грязного белья – в стиральную машину. Потом вскипятил воду и, заварив чай, сел за кухонный стол.

Этот вечер не был чем-то из ряда вон выходящим. Иногда Биргит приступала к возлияниям раньше, еще днем, и тогда двумя брошенными на пол пакетами с продуктами, опроки-

нутым бокалом и разбитой вазой дело не ограничивалось. А когда Биргит выпивала первый бокал перед самым его приходом, она встречала его веселой, разговорчивой, ласковой, а если это был бокал не просто вина, а шампанского, в ней появлялась какая-то трогательная живость, наполнявшая его грудь тихой радостью и тоской, как все хорошее, о котором мы знаем, что это всего лишь иллюзия. В такие вечера они обычно ложились спать вместе. В остальные дни она чаще всего уже была в постели. А иногда лежала на диване или на полу, и он относил ее в спальню.

Уложив ее в постель, он еще некоторое время сидел на пуфе рядом с кроватью перед туалетным столиком и смотрел на нее. На ее морщинистое лицо, дряблую кожу, на волосы в носу, на капельки слюны в уголках рта, на потрескавшиеся губы. Время от времени ее веки или руки подрагивали, она бормотала какие-то несвязные слова, лишённые смысла, стонала или вздыхала. Иногда тихонько похрапывала, и от этого храпа или сопения ему не сразу удавалось заснуть, когда он через какое-то время тоже ложился в постель.

Неприятен был ему и ее запах. От нее пахло алкоголем и больным желудком, и этот острый запах напоминал ему нафталин, который клала в шкафы его бабка. Когда ее рвало в кровати, что, к счастью, случалось редко, он широко раскрывал окно и, пока обтирал ее салфетками и убирал рвоту, задерживал дыхание, периодически набирая в легкие воздух перед окном.

Но эти несколько минут на пуфе были неизменным ритуалом. Он смотрел на нее и видел сквозь это выцветшее и потухшее лицо его прообраз, лицо прежних счастливых дней, которое было таким разным, в зависимости от настроения, которое иногда поражало его, но всегда – даже будучи заспанным, усталым или мрачным – дышало жизнью. Каким безжизненным становился ее взгляд, когда она была пьяна! Иногда в ее сегодняшнем лице вспыхивали, как зарницы, эти прежние лица – решительное лицо студентки в синей рубашке, лицо молодой продавщицы книжного магазина, осторожное, сдержанное, часто исполненное тайны и волшебства; лицо, когда она начала писать, – сосредоточенное, словно она каждую минуту обдумывает замысел своего романа или просто не может избавиться от мыслей о нем; ее розовое лицо, когда она, уже в возрасте, открыла для себя езду на велосипеде и возвращалась домой после часовых или даже двухчасовых поездок по городу или окрестностям.

У нее было состарившееся лицо. Она состарилась. Но это было лицо, которое он любил. С которым ему хотелось говорить. Эти теплые карие глаза грели ему сердце, а веселые искры в них заставляли его смеяться. Это было лицо, которое он любил брать в ладони и целовать, которое трогало его душу. Она трогала его душу. Ее поиски своего места в жизни, туман загадочности, которым она окутывала свое творчество, ее мечты о запоздалом литературном успехе, ее страдания, связанные с алкоголем, ее восторженная любовь к детям и собакам – во всем этом заключалось столько боли о том, что не сбылось и не может сбыться. И эта боль приводила его в умиление. Может быть, умиление – это облегченный вариант любви? Возможно. Если любовь – это всё. Для него это было не всё.

С пуфа он вставал непримиренным. Он никогда не переставал желать другого, большего. Но он был человеком спокойным. Так уж сложилось. Он шел в гостиную, садился на диван и читал новинки. Этот неиссякаемый поток новых книг и сделал его книготорговцем.

2

Но в этот вечер в спальне ее не оказалось. Он вышел в прихожую, поднялся по лестнице в бывшую комнату для прислуги, располагавшуюся над кухней. Она была тесной и низкой, крохотные окна выходили во двор, но Биргит нравилась эта теснота, нравились две двери – одна внизу, другая наверху, – и она устроила себе в этой каморке кабинет. Он постучал. Биргит не любила, когда ее беспокоили, особенно неожиданными визитами. Не дождавшись ответа, он открыл дверь. На письменном столе царил образцовый порядок. Слева высилась стопка бумаги, справа лежала авторучка, которую он подарил ей много лет назад. На стене у окна висела записка, написанная ее почерком. Он знал, что не должен ее читать. «Ты получил...» Он не стал читать дальше.

Биргит лежала в ванне, голова ее была под водой, волосы свисали с края ванны. Он приподнял ее голову. Вода давно остыла. Судя по всему, она лежала здесь уже несколько часов. Он вытащил ее из воды настолько, чтобы положить голову на край ванны. В современной ванне она не смогла бы так глубоко погрузиться в воду. Почему они не завели себе современную ванну? Им обоим нравилась эта глубокая длинная ванна в стиле модерн, они часто вместе лежали в ней и не пожалели денег на ее ремонт.

Он стоял и смотрел на нее. На ее груди – левая была чуть больше правой, – на ее живот со шрамом, на вытянутые руки и ноги, на ладони, словно парившие в воздухе над дном ванны. Он вспомнил, как она несколько раз собиралась сделать пластическую операцию и уменьшить левую грудь, но так и не собралась, вспомнил, как испугался, когда ее увезли в больницу с острым аппендицитом, как она играла на рояле своими длинными пальцами. Он смотрел на нее и понимал, что она мертва. Но у него было такое чувство, что он потом расскажет ей обо всем этом, – о том, как увидел ее мертвой, лежащей в ванне. Словно она умерла не навсегда, ненадолго.

Ему следовало вызвать «скорую помощь». Но спасать было уже некого, так что он мог не торопиться. К тому же он терпеть не мог шума и суеты; ему стало не по себе при мысли о машине «скорой помощи», въезжающей во двор с мигалкой и сиреной, о санитарях с носилками, полицейских, пристающих к нему со своими вопросами, криминалистов со своей дактилоскопией, любопытного домоправителя. Он сел на край ванны. Хорошо, что глаза у Биргит закрыты. Он представил себе, как она смотрит на него застывшим, пустым взглядом, и поежился. Если бы она умерла от инфаркта или апоплексического удара, они были бы открыты. Но она уснула. Просто уснула? Просто слишком много выпила? Или вдобавок к алкоголю что-то приняла? Он встал, подошел к аптечке; не найдя в ней пачки валиума, которая там обычно лежала, нажал ногой на педаль мусорного ведра и увидел на дне пустую коробку и выпотрошенную алюминиевую фольгу. Сколько же таблеток она приняла? Может, она просто никак не могла уснуть? А может, не хотела больше просыпаться? Он снова сел на край ванны. Чего же ты хотела, Биргит?..

Он уже много лет с тревогой наблюдал за ее депрессиями. Несколько раз пытался отправить ее к психотерапевту или психиатру. У него были друзья-врачи, которые могли бы ей помочь. Но она не хотела никакой помощи. Это вовсе не депрессии, говорила она, никаких депрессий вообще нет, есть люди с меланхолическим темпераментом, и это как раз ее случай. Она не хочет, чтобы ее с помощью таблеток превращали в другого человека. А то, что каждый может и должен быть уравновешенным и уверенным в себе, – это новомодная чушь. Она и в самом деле даже в обычном состоянии была задумчивей, серьезней и печальней других. С юмором у нее все было в порядке, ее вполне могла развеселить какая-нибудь курьезная ситуация или шутка. Но ей чужда была та игривая легкость, то иронично-надменное выражение, с которым друзья или коллеги обсуждали книги и фильмы, говорили об общественной жизни

или политике. Еще более чуждым было ей то, что политики и художники не принимали всерьез сами себя и то, чем они занимались, а довольствовались тем, что их деятельность была объектом внимания, не важно какого – восторженного, удивленного или возмущенного. Все серьезное она принимала всерьез. Только потом, после падения Берлинской стены, когда он поближе познакомился с книготорговцами из Восточного Берлина и Бранденбурга, он понял, что в этом Биргит была дочерью, плотью от плоти ГДР, пролетарского мира, которая пыталась сочетать буржуазность с прусским социалистическим энтузиазмом и всерьез относилась к культуре и политике, как когда-то буржуазия, со временем утратившая этот навык. С тех пор он смотрел на нее другими глазами, с уважением и с печалью о том, что имел, но потерял *его* мир.

Нет, это не меланхолия довела ее до самоубийства. Меланхолия и красное вино лишь наполнили ее члены усталостью, погрузили ее в полусон. И она не захотела ждать, когда наступит сон, решила поторопить его. И он пришел и убил ее. Куда тебе было торопиться, Биргит? Но он хорошо знал ее болезненную нетерпеливость. Именно эта нетерпеливость и не давала ей спокойно снять туфли, положить в холодильник продукты, вымыть посуду, приготовить ужин, разобраться с выстиранным бельем. Смерть от нетерпения...

Он рассмеялся, пытаясь проглотить комок в горле. Потом встал и позвонил в «скорую помощь». Затем вызвал полицию. Зачем ждать, что это сделает врач «скорой помощи»? Ему хотелось покончить с этим как можно скорее.

3

Все это продлилось два часа. Сначала приехала и уехала «скорая помощь». Потом была полиция, двое в штатском и двое в форме. Они осмотрели «место происшествия» на предмет следов преступления. Он рассказал им, как обнаружил Биргит, объяснил, почему вымыл бокал, из которого она пила, показал коробку из-под валиума и алюминиевую фольгу в мусорном ведре, долго смотрел, как они ищут прощальное письмо. Вызванные ими работники фирмы ритуальных услуг погрузили Биргит в мешок для перевозки трупов и повезли в отдел судебно-медицинской экспертизы. Потом его спрашивали, когда он обнаружил Биргит и что делал днем и вечером. Когда он рассказал, что до девяти часов находился в книжном магазине и это могут подтвердить его сотрудницы и клиенты, полицейские сменили тон и стали приветливой. Вежливо попросив его зайти завтра в управление, они ушли. Он закрыл за ними дверь и навесил цепочку. Ни спать, ни читать, ни слушать музыку он не мог. Его душили слезы. Он выложил на стол в кухне сухое белье и принялся загружать в сушилку выстиранное. Когда ему в руки попала любимая футболка Биргит, он почувствовал, что и это занятие ему сейчас не по силам.

Поднявшись по лестнице в кабинет Биргит, он сел за письменный стол. Только теперь он прочел до конца висевшую на стене записку: «Ты получил то, что тебе дал суровый Бог». Чьи это слова? Почему Биргит их записала? О чем они должны были напоминать ей? Он придвинул к себе стопку бумаги, которая оказалась рукописью. Имя автора на первой странице было ему знакомо. С этой женщиной Биргит ходила в одно литературное объединение. Но ему хотелось прочесть что-нибудь написанное самой Биргит. Он стал один за другим открывать ящики стола. В верхнем лежали чистая писчая бумага, ручки и карандаши, ластики, точилки, скрепки и прозрачная клейкая лента, в двух нижних – папки с разрозненными машинописными текстами, иногда всего несколько строк, иногда целые абзацы, записки, написанные почерком Биргит, письма, вырезки из газет, ксерокопии, фотографии брошюры. Папки не были надписаны, и их содержимое, судя по всему, имело случайный характер. Но он знал Биргит; это был лишь кажущийся хаос, и в папках хранились какие-то формулировки, понятия, фрагменты отдельных глав. Однако он не мог сосредоточиться и разглядеть какой-то порядок.

Среди папок лежала открытка с репродукцией «Шоколадницы» Жана Этьена Лиотара из Дрезденской картинной галереи. Он перевернул ее – почтовая марка ГДР, но адрес отправителя не указан. «Дорогая Биргит, я недавно ее видела. Веселая девочка. Похожа на тебя. Твоя Паула». Он еще раз внимательно всмотрелся в лицо «Шоколадницы». Никакого сходства с Биргит. Внимательный взгляд? Пожалуй. Биргит тоже иногда так смотрела. Но этот остренький носик и этот ротик... Нет. Да и никакой особой веселости у этой шоколадницы не наблюдается.

Он подумал, что в квартире не висит ни одной фотографии Биргит, и на его письменном столе в магазине тоже нет ее снимка. У многих друзей дома имеется целая галерея фото в серебряных и черных рамках – свадьбы, каникулы, загородные поездки, родители, дети. У них с Биргит детей не было. А на своей более чем скромной свадьбе в 1969 году, за которую им было немного стыдно, потому что друзья считали это уже устаревшим и немодным ритуалом, они не фотографировались. Он достал из кармана брюк кошелек и удостоверился, что лежавшее в нем маленькое фото Биргит, сделанное для паспорта, которое он носил с собой уже много лет, по-прежнему там, рядом с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации машины. Надо будет его переснять и увеличить.

Он так и не нашел в столе Биргит того, что искал. Ни в одном из ящиков не было рукописи. В нижнем лежала бутылка водки, и он стал пить из нее, продолжая поиски в книжном шкафу. Уснул он уже под утро, когда стало светать. Вскоре его разбудил щебет птиц. Несколько

секунд он не мог понять, где находится. Не сразу вспомнил он и о том, что произошло. Наконец в голове у него прояснилось, и он только теперь смог заплакать.

4

Прошли недели, прежде чем он вновь перешагнул порог комнаты Биргит. Он не мог заставить себя убрать из квартиры ее вещи, ее пальто и платья из шкафов, белье из комода, расчески, флаконы и тюбики с туалетного столика и из шкафчика над раковиной в ванной, зубную щетку из стакана. Он не открывал дверцы, за которыми находились ее вещи, и не решался войти в ее кабинет. Ему трудно было представить себе, как это можно – как он видел в каком-то фильме – зарыться лицом в платья умершей жены и вдыхать ее запах, смотреть на ее вещи, прикасаться к ним, нюхать их. Это было выше его сил. Ему хватало той боли, которую он испытывал, глядя на все, что имело отношение к Биргит, на тот маленький мир, в котором она еще недавно жила и из которого навсегда исчезла. Он испытывал эту боль в квартире, в книжном магазине и даже подумывал о том, чтобы расстаться и с тем и с другим. Но поскольку боль не покидала его и на улице, он сомневался, что сможет начать все сначала на новом месте. Биргит будет всюду мучить его своим незримым присутствием и остро ощутимым отсутствием, куда бы он ни сбежал.

И тут он получил письмо от баденского издательства. Автор письма, директор издательства Клаус Этлинг, представился другом Биргит и сообщил, что давно состоит с ней в переписке по поводу ее работы. Те немногие тексты Биргит, что ему довелось прочесть, не оставляют сомнения в ее таланте, и он часто говорил с ней о ее рукописях, в частности о ее романе. Выразив свою скорбь и свои соболезнования, он поинтересовался судьбой рукописи Биргит, законченной или незаконченной. Незаконченные книги, как и незаконченные симфонии, нередко оказываются образцом совершенства и вполне достойными внимания публики.

Он знал это маленькое, но солидное издательство, выпускающее хорошие книги, которые он охотно продавал у себя в магазине, недоумевая при этом по поводу их рентабельности для издателя. Директора издательства он никогда не видел. Интересно, как и когда тот познакомился с Биргит?

Он вопросительно посмотрел на ее портрет. Она ответила ему неопределенным взглядом. Это фото даже в увеличенном виде осталось всего лишь снимком для паспорта. Но у нее здесь волосы были заколоты на затылке, как он любил, а лицо полнее, чем в последние годы, более женственное, мягкое; уголки губ чуть приподняты, как бы предворяя улыбку, а карие глаза – видимо, от вспышки – выражали удивление, не испуганное, а радостное, словно от неожиданной приятной встречи. Что за тексты ты ему посылала, Биргит? И о каких рукописях вы с ним говорили?

Письмо пришло во вторник. В субботу он поднялся в кабинет Биргит, сел за письменный стол, вынул из ящиков папки, аккуратно сложил их стопкой и открыл первую. На первой странице было написано почерком Биргит: «Как ей научиться быть самой собой? Если она не может жить для себя, если она ни на минуту не может остаться наедине с собой? Всегда и всюду голоса, шепот, лепет, крик, вой, день и ночь. Шум, запах, свет». Затем с новой строки, после абзаца: «Ослепление. Из теплой тьмы на яркий свет. Рождение – это ослепление. Когда дети в роддоме ночью не спят, свет не выключают. Или включают и выключают, включают и выключают, щелк, щелк, щелк... Солнце слепит. Снег слепит. Лампа под потолком слепит. Карманный фонарик слепит. Луч фонаря в лицо – спит или не спит? Луч фонаря на живот – кричит или не кричит? Ослепленное лицо. Ослепленный живот. Ослепление до слепоты».

Дальше пошли вырезки из газет, ксерокопии и брошюры о сиротах в ГДР, об усыновлении и удочерении, о принудительном усыновлении и удочерении, о домашнем воспитании, о воспитании в детских домах, о специальных детских домах для трудновоспитуемых, о воспитательно-трудовых колониях, о борьбе с безнадзорностью и о предупреждении детской преступности.

В следующей папке был собран материал о безнадзорных подростках, о подростковой преступности, о ксенофобии и праворадикализме, скинхедах и фашистских группировках в ГДР и других странах; опять вырезки из газет, ксерокопии и брошюры, кроме того, письма журналистам и научно-исследовательским организациям, их ответы. И еще одна записка, написанная рукой Биргит: «Наконец-то / бить, лупить, резать / свобода. / Наконец-то / как они глупшат водку / сразу / Наконец-то / пот и кровь и слезы / братья». Еще в одной папке он нашел фотографии улиц, домов, садов, пейзажей. Это были незнакомые ему места, и, глядя на них, он не видел ничего особенного и не понимал, зачем их надо было фотографировать. На оборотной стороне некоторых из них стояли разные даты пятидесятых годов, но никаких комментариев или пояснений.

Он открыл очередную папку и стал перебирать ксерокопии статей из «Зэксише цайтунг» за 1964 год. Лео Вайзе на открытии канализационной насосной станции, Лео Вайзе на открытии коровника в СПК¹, Лео Вайзе на вагоностроительном заводе в Ниски, Лео Вайзе общается с членами студенческой бригады. Лео Вайзе – высокий мужчина с открытым лицом; в отличие от других функционеров, позирующих на официальных мероприятиях с непроницаемыми минами, он ведет себя непринужденно, на встрече со студентами даже улыбается. Улыбаются и студенты. Среди них – Биргит. В рабочем халате и в косынке. Плохая печать и пожелтевшая от времени бумага лишили ее лицо свежести. Но это она. Потом он нашел листок бумаги, на котором под заголовком «Рост кадров» она записала этапы карьеры Лео Вайзе: рабоче-крестьянский факультет, инструктор ССНМ² в Вайсвассере, Высшая школа ССНМ, первый секретарь районного комитета ССНМ Гёрлитца, Центральный комитет ССНМ, Высшая партийная школа, диплом специалиста в области общественных наук, второй секретарь районного комитета СЕПГ³ Гёрлитца, первый секретарь районного комитета СЕПГ Ниски.

В последней папке лежал довольно большой машинописный текст без заглавия и автора, по-видимому написанный самой Биргит. «За 40 лет своего существования ГДР отправила за решетку 120 000 подростков. В детдома – обычные, специальные, особые, – в воспитательно-исправительные и трудовые колонии, в детприемники. При поступлении во все эти заведения их обыскивали, осматривали – в том числе естественные отверстия в теле, – стригли наголо. Сажали сначала в одиночную камеру-изолятор с табуреткой, нарами и ведром. Затем переводили в общую камеру, строптивцев – к злобным хулиганам, недовольных партией и правительством – к уголовникам, жертв физического насилия – к садистам, жертв сексуального насилия – к насильникам. Туда, где их ломали. Их ломали, потому что они были не такими, как другие. А те ломали их, потому что могли сломать, потому что сами были сломаны. Если ты не так заправил койку, или неправильно поставил зубную щетку в стакан, или сказал что-нибудь, когда нужно было молчать, или промолчал, когда должен был говорить, начальство наказывало коллектив, а коллектив наказывал тебя. Многие пытались бежать. Если не удавалось, они пытались бороться. Если борьба оказывалась бесполезной, они внутренне застывали. Замерзали. И многие не смогли оттаять даже после освобождения. Они страдали амнезией, клаустрофобией, агорафобией, страдали душой или телом, импотенцией или фригидностью, не могли родить детей, становились алкоголиками. Так же воспитывали-ломали детей в детдомах и до 1945 года, а после 1945 года эту эстафету приняла ГДР...» И так далее, сначала в общих чертах, потом подробно, на примерах конкретных детдомов и их карательно-воспитательной педагогики. Чем бы ни был этот текст – заимствованием из других источников

¹ Сельскохозяйственный производственный кооператив (нем. LPG – Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft). – *Здесь и далее примеч. перев.*

² Союз свободной немецкой молодежи (ГДР) (нем. – FDJ, Freie Deutsche Jugend).

³ Социалистическая единая партия Германии (нем. – SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).

или результатом изучения материалов из первой папки, для личного пользования или для публикации, – это было не то, что он искал.

Он открыл окно. Каштан во дворе был еще голым, но в воздухе, полившемся в комнату, уже чувствовалось дыхание весны. Он послушал звонкую переключку двух дроздов, поискал их глазами, обнаружил одного вблизи, на коньке крыши соседнего дома, потом другого, чуть дальше, на шпиле колокольни, и вспомнил, как Биргит разбудила его однажды утром, много лет назад, чтобы он послушал первого весеннего дрозда. И вообще, он узнал, как поют дрозды, только благодаря Биргит.

Когда же Биргит начала работать над своим романом? В один прекрасный день она бросила работу в книжном магазине. «Тайм-аут», растянувшийся на месяцы и проведенный в Индии, закончился уходом из книготорговли. Биргит закончила курсы ювелиров, потом поваров, проработала и в той и в другой области считанные дни, после этого посвятила себя борьбе за охрану окружающей среды и занялась организацией митингов, акций, демонстраций. Она с удовольствием рассказывала о своей общественной работе. О романе – ни слова. Ни о том, почему писала его, ни о его содержании. Говорила лишь, что работает. Давно? Шесть или семь лет? А может, десять? Чем же ты занималась все эти годы, уединяясь в своем кабинете? Сочиняла в голове? Писала на бумаге, рвала и бросала лист за листом в корзину? Смотрела в окно, слушая гомон дроздов и воробьев в кроне каштана, голоса игравших во дворе детей, звуки скрипки или рояля в соседних квартирах, шорох дождя в листве и барабанную дробь капель на подоконнике? Мечтала?

В своей скорби, всегда и везде болезненно ощущая отсутствие Биргит, как будто она всегда и везде была с ним, он забыл, как часто она была очень далека от него.

5

Ему не хотелось выставлять Биргит в неприглядном свете, и он написал директору издательства, что еще разбирает и систематизирует ее творческое наследие. «Вы спрашиваете о рукописи романа. При разборе архива жены мне очень помогли бы хоть какие-нибудь сведения о теме романа, если, конечно, Вы располагаете таковыми. Дело в том, что Биргит была очень скрытна в вопросах, касающихся ее литературной работы, а я с пониманием относился к этому и не спрашивал ее ни о романе, ни о других текстах. Сейчас, когда я занимаюсь ее творческим наследием, мне очень пригодилась бы любая информация о ее проектах».

Ответ пришел на удивление быстро. Директор издательства писал, что познакомился с Биргит пять лет назад на недельных курсах йоги на Балтийском море. Во время своих регулярных прогулок по берегу он обратил внимание на Биргит, которая часто сидела на дюнах и что-то писала, и однажды, подсев к ней, спросил, что она пишет. Биргит, не смутившись, прочла ему стихотворение, над которым работала, а потом с готовностью показала и другие свои стихи. Он никогда не забудет эту тетрадь в кожаном переплете с кожаной лентой-застежкой. Свои стихи она ему так и не прислала, сколько он ее ни просил. Но он хорошо их помнит, их своеобразный, скупой и в то же время лирический и оттого волнующий тон, странные, неожиданные образы, порой пугающие мысли. Когда он предложил издать их в виде сборника, она рассмеялась и сказала, что она не поэт, а прозаик и пишет роман. А на вопрос, о чем он, ответила, что тема ее романа – жизнь как бегство. Ее жизнь как бегство, вообще жизнь как бегство. Его это заинтересовало, и когда потом они с Биргит изредка беседовали по телефону – раза два в год – и он интересовался ее работой над романом, она отвечала, что работа подходит к концу. «Если Вы пришлете мне рукопись – законченную или незаконченную, – я ее напечатаю. И если найдете тетрадь в кожаном переплете с кожаной лентой-застежкой, я буду рад наконец-то издать сборник стихов Биргит Веттнер».

Он никогда не видел никакой тетради в кожаном переплете и даже не знал о ее существовании, не знал, что Биргит пишет стихи и дописывает роман. Его переполняла горечь обиды. Биргит писала стихи и охотно, без всякого стеснения, показывала их чужому мужчине, а ему – нет. Говорила с этим мужчиной о своей работе, а с ним – нет. Писала о жизни как бегстве – о своей жизни как бегстве, – хотя он помог ей не только бежать, но и спастись! Ему по-прежнему остро не хватало ее. Ее присутствия, ее тела, к которому он больше не мог прижаться ночью, ее лиц – радостного, серьезного, упрямого, грустного, – ее смеха, разговоров о будничных делах, или о какой-нибудь планируемой ею акции или демонстрации, или о новой книге, которую он читал; не хватало ритуала, когда она лежала на кровати, а он сидел рядом на пуфе. Но в его любовь и скорбь вкралось болезненное чувство неприязни.

После нескольких тщетных попыток включить ноутбук Биргит он отнес его своему программисту, который отвечал за работу компьютеров у него в книжном магазине и их программное обеспечение, с просьбой поколдовать над ним. Тот подключил к нему другой монитор, и на нем появилось окошко с требованием кода. Каспар не знал его. Программист принялся выяснять, где и когда он познакомился с Биргит, где и когда родилась Биргит, просил назвать ее девичью фамилию, имена ее родителей, братьев и сестер, вспомнить какие-нибудь важные для нее даты, места и имена, какие у нее могли быть тайны. Берлин, 17 мая 1964 года, Берлин, 6 апреля 1943 года, Хагер, Эберхард и Ирма, Гизела и Хельга... Потом он вспомнил про 16 января 1965 года, когда Биргит попала в Берлин. Но ни одна из этих дат, ни одно из имен не приблизило их к разгадке кода; не помогли и его имя, Каспар Веттнер, и его дата рождения: 2 июля 1944 года. Программист не знал, как проникнуть в недра компьютера, и оставил его пока у себя, пообещав подумать, что еще можно предпринять.

Да, 16 января 1965 года Биргит прилетела в Берлин, в аэропорт Темпельхоф. Прилетела к нему. Тогда и началась их совместная жизнь, и у него было такое чувство, что его жизнь вообще только тогда и началась. Его взрослая жизнь после детства и юности, после несчастной первой любви и неудачного выбора вуза. Или она началась еще 17 мая 1964 года?

6

Два семестра Каспар отучился в своем родном городе, а потом, летом 1964 года, отправился в Берлин. Он бежал от своей юношеской любви, хотел уехать подальше от той, которая предпочла ему другого. Ему захотелось сутолоки большого города, захотелось учиться в университете, основанном студентами, он надеялся, что жизнь и учеба в эпицентре конфликта Востока и Запада будет интересней. А еще ему хотелось увидеть Германию – всю Германию, а не только Западную, где он до этого жил в уютно-неторопливой католической Рейнской области. Его отец был протестантским пастором, и он вырос с Лютером, Бахом и Цинцендорфом⁴, а каникулы проводил у деда с бабкой, читая книги по отечественной истории, в которых Германия своим завершающим этапом развития была обязана Пруссии. Восточный и Западный Берлин, Бранденбург, Саксония, Тюрингия, вся страна восточней Эльбы и ее западные и южные земли – все это было его Германией.

И вот в один прекрасный день, в субботу, он прибыл на поезде межзонального сообщения в Берлин и поселился в студенческой общине в Далеме. На следующее утро он рано встал и два с половиной часа прошагал по городу, объятomu воскресной тишиной, до Бранденбургских ворот, чтобы посмотреть на другую сторону через стену. Потом доехал на городской электричке до Фридрихштрассе, прошел паспортный контроль, предъявив документы пограничникам в зеленой форме, поменял западногерманские марки на восточногерманские и ступил на чужую землю с твердым намерением сделать своей родиной весь Берлин, всю Германию.

Он ходил по городу целый день. У него не было ни планов, ни цели, он просто плыл по течению. Он приехал на метро в восточную часть города, прошел по Карл-Маркс-аллее, с востока на запад, от домов пятидесятых годов постройки с их характерными фасадами и аркадами, с их архитектурным декором до гладких панельных домов шестидесятых, посмотрел на Александерплац, на собор и университет на Унтер-ден-Линден, перешел через Музейный остров в Пренцлауер-Берг с его широкими бульжными мостовыми, некогда роскошными, а теперь невзрачными бюргерскими домами, беспорядочно разбросанными парками и скверами. Восточный Берлин был более серым, чем Западный, в нем зияло больше незастроенных участков, было меньше машин, и они по-другому пахли. Но во время своего утреннего марша по пустым улицам с серыми домами он увидел достаточно, чтобы убедиться в том, что разница несмертельна. К тому же он приехал сюда не для того, чтобы выискивать различия, а для того, чтобы находить общее. В общем он «записал» и огромные плакаты – на Востоке они возвещали о Троицком слете немецкой молодежи, на Западе рекламировали «Персил», сигареты «Цубан» или чулки «Эльбео».

После обеда город оживился. Прохладное, пасмурное утро перешло в теплый, солнечный, по-настоящему весенний день. На краю народного парка Фридрихсхайн он увидел киоск, где продавали жареные колбаски с картофельным салатом и лимонад. Купив себе и то и другое, он устроился на бетонной скамье за бетонным столом и принялся есть, наблюдая за играющими детьми и их коротающими время в беседах мамашами. Напротив него, поздоровавшись, присел мужчина. Когда Каспар все доел и допил, он обратился к нему с вопросом, нельзя ли его кое о чем попросить. Каспар кивнул. Выяснилось, что мужчине приглянулась шариковая авторучка, торчавшая у него из кармана рубашки. Он работает в министерстве, сообщил тот, ему приходится подписывать много важных документов, а отечественные ручки пишут плохо – пачкают бумагу.

⁴ Николай Людвиг фон Цинцендорф и Поттендорф (1700–1760) – один из крупнейших богословов XVIII в., епископ и реформатор Моравской церкви.

Каспар внимательней всмотрелся в его черты. Средний возраст, жидкие волосы, выражение досады и служебного рвения на лице, бежевая штормовка поверх бежевой рубашки. Как странно, подумал Каспар: чтобы лучше служить своему государству и своему классу, этот бедняга клянчит у своего классового врага из враждебной страны шариковую ручку. Социалистическое чиновничье рвение. Но таких хватает и на Западе. Каспар, настроенный находить общее, нашел общие признаки и в своей первой встрече с гражданином ГДР. Он улыбнулся собеседнику и отдал ему свою шариковую ручку.

В кинотеатре рядом с парком он посмотрел детектив под названием «Черный бархат» о борьбе восточных и западных спецслужб за строительный кран уникальной конструкции. Созданный специалистами ГДР, он должен был быть представлен на Лейпцигской ярмарке, но западные агенты пытались его уничтожить, чтобы нанести удар по престижу ГДР. Каспар и в этом нашел нечто общее между Западом и Востоком: гэдээровский агент был своего рода Джеймсом Бондом, только более простодушным, проще одетым, непритязательным в техническом плане, неприветливым в гастрономическом и напрочь лишенным чувства юмора.

Уже на следующий день он опять поехал в Восточный Берлин, на этот раз прямо в Университет имени Гумбольдта, и стал так настойчиво добиваться на проходной, чтобы его пропустили к декану философского факультета, что вахтеру пришлось вызвать какого-то студента, который и проводил его в деканат. Там он сообщил, что изучает германистику и историю и хотел бы в течение одного семестра изучать здесь философию. Декан перечислил множество причин, по которым это было невозможно, – от проблем административного характера, связанных с правилами приема студентов, до статуса Берлина и отсутствия мирного сосуществования двух немецких государств.

Зато студент, которому надлежало проводить его обратно к проходной, сначала взял его с собой в студенческую столовую и за обедом охотно поделился с ним мыслями о настоящем как начале будущего, предсказанного Марксом и Энгельсом, о свободе как осознанной необходимости, о недопустимости эксплуатации человека человеком и о равноправии мужчин и женщин в ГДР. Каспар тщетно пытался говорить о личном, об учебной нагрузке, о перспективах трудоустройства, о целях путешествий во время каникул. Но его собеседник старался держаться в рамках обозначенных тем: Маркс, Энгельс и ГДР.

Каспар приуныл. Как в таких условиях сделать своей родиной весь Берлин, всю Германию? В ближайшие недели он ограничился в этом плане визитами в «Берлинер ансамбль»⁵. На лекциях и семинарах в Свободном университете он познакомился со студентами, которые, как и он, ждали Троицкого слета немецкой молодежи как редкой возможности пообщаться со своими ровесниками из Восточной Германии. Слет этот начался шестнадцатого мая.

⁵ «Берлинер ансамбль» – драматический театр в Берлине, основанный в 1949 г., один из самых знаменитых театров Германии.

7

Праздничное шествие со знаменами, лозунгами и плакатами на Маркс-Энгельс-плац скоро наскучило Каспару. Он бесцельно слонялся по площади. Природная робость мешала ему заговорить с кем-нибудь из девушек или юношей в синих рубашках. Они стояли или гуляли группами, сидели на площадях или в парках, слушали музыку, смотрели уличные театрализованные представления, танцевали. Многие были его ровесниками. Но он не мог избавиться от чувства, что эти молодые люди в своих синих рубашках и в своих группах совершенно не нуждаются в его обществе и что, если он заговорит с ними, они встретят его с настороженной неприязнью.

И все же он смотрел на них с любопытством, как бы прикидывая, с кем из них можно было бы заговорить. Многим из этих студентов явно было наплевать, что эти синие рубашки им слишком велики или малы или плохо сидят. Одни носили их как надоевшую униформу, другие – с гордостью, с таким видом, словно воспринимали свою спецодежду как прелюдию к военной форме. Некоторые девушки в рубахах в обтяжку, подчеркивавших груди, расстегивали верхние пуговицы и выглядели соблазнительно. Но это была какая-то другая соблазнительность, не такая, как у западных немок. Кое-кто прятал свою синюю рубашку под наброшенным на плечи тонким пуловером или пестрым платком. Готовы ли они к открытому общению со студентом из Западной Германии?

В первый вечер он вернулся домой недовольным – прошедшим днем, собой. Завтра все будет иначе, думал он. Он еще раз поедет туда. Он преодолеет свою робость, заговорит с кем-нибудь. Если не получится с первого раза, он будет пытаться еще и еще.

На Бебельплац он увидел студентов, вместе с которыми сидел на лекции. Они беседовали с синими рубашками, и Каспар присоединился к ним. Запад спорил с Востоком, Восток с Западом – привычная ожесточенная перепалка, которую Каспар слушал вполуха, потому что одна студентка в синей рубашке хотя и говорила в унисон со своими товарищами, но как-то очень обаятельно. К тому же она, со своими волнистыми каштановыми волосами, карими глазами, крепкими щеками и большим, красиво очерченным ртом, была сногшибательно хороша. Чуть позже они снова случайно встретились на Александерплац, разговорились, заинтересовались друг другом и провели оставшееся время слета вместе – смотрели, слушали, говорили, смеялись, танцевали и знакомились с другими студентами из Восточной и Западной Германии. Из этих встреч образовался небольшой круг друзей.

Когда Каспар рассказывал, как он встретил и полюбил Биргит, это была любовь с первого взгляда. Увидев ее на Бебельплац, оживленную, сияющую, острую на язык и, в отличие от других, не зашоренную идеологическими догмами, а исполненную полемического задора, он сразу потерял голову. Ему не удалось заговорить с ней, он ушел, проклиная себя за трусость, хотел тут же вернуться, но так и не решился. Поэтому чуть позже, увидев ее на Александерплац, он воспринял это как дар небес. Как будто Бог, в которого он не верил, послал ему еще раньше, на Бебельплац, свое благословение.

Каспар не мог похвастаться решительностью. Он медленно влюблялся в свою первую избранницу, которая не подходила ему и которой не подходил он, и, если бы она сама не бросила его, он бы еще долго отрывал от нее свое сердце. Он долго выбирал факультет, долго и мучительно выбирал новую одежду, или новую кофеварку, или новый велосипед. Но в этот раз все произошло быстро. Когда они прощались в конце семестра – он уезжал на практику в издательство, в свой родной город, а она со студенческой бригадой на работу в каком-то пансионе на Балтийском море, – они уже понимали, что будут вместе. Предложение Каспара эмигрировать в ГДР она решительно отклонила. Значит, ему придется забрать ее в ФРГ. Он еще не знал, как это сделает, но был уверен, что найдет способ.

В начале зимнего семестра, приложив определенные усилия, он вышел на студентов, которые занимались организацией побегов на Запад и знали людей, продававших фальшивые документы. Ему назначили встречу в кафе в Нойкёльне. Эти люди ездили на «мерседесе»-купе с белыми шинами, как Розмари Нитрибит⁶, носили пальто из верблюжьей шерсти, а их пальцы были унизаны огромными перстнями. Побег Биргит был назначен на пятнадцатое января. Через Прагу и Вену. Биргит должна была получить «путевку выходного дня» в Прагу, а Каспар – организовать фото на паспорт и раздобыть пять тысяч немецких марок. Фото потребовали сразу, деньги – к январю. Разговор длился несколько минут, сделку скрепили рукопожатием.

Когда Каспар вернулся домой, у него тряслись руки. Побег вдруг из идеи превратился в реальность. Воплотился в слово и в долг. Ему нужно было перенести через границу документы, за которые в случае неудачи им с Биргит обоим грозила тюрьма. А Биргит к тому же предстояло жить с этим страхом, пока она не пересечет Чехословакию и не окажется в Австрии. Опасность перестала быть теоретической. Она стала реальной. Каспара охватил страх.

Его вдруг покинули силы. Весь дрожа, он лег в постель, уснул и проснулся через два часа мокрый от пота. Но страх как рукой сняло. Потом, спустя годы, он не раз просыпался посреди ночи с бьющимся сердцем, потому что ему снилась проверка на границе, во время которой у него могли найти что-то запрещенное, или допрос, на котором он отчаянно старался скрыть какую-то тайну. До самого дня побега страх не возвращался к нему даже во сне. Все, что надо было сделать, он делал совершенно спокойно.

⁶ *Мария Розалия Августа Нитрибит* (1933–1957) – известная немецкая проститутка, ставшая жертвой загадочного скандального убийства.

8

В то же время он воспринимал все происходящее с максимальной остротой. На следующий день он поехал в Восточный Берлин за фотографиями Биргит. У нее не было телефона, и он не мог позвонить ей и предупредить о своем визите. Оставалось лишь надеяться, что он застанет ее дома. Он был у нее в гостях лишь однажды, познакомился с ее бабушкой, матерью и сестрами – Хельгой, жившей, как и Биргит, пока еще дома, и Гизелой, которая как раз пришла навестить родных; его потчевали в гостинной кофе с пирогами. Сидя на диване, на котором спала Биргит, он чувствовал себя как под микроскопом, и облегченно вздохнул, когда настало время идти в театр и они с Биргит откланялись.

Он запомнил дорогу: от станции городской электрички под мост, на маленькую улочку, мимо кирпичного здания школы с арками и колоннами, за угол, куда с визгом и скрежетом поворачивали трамваи, мимо булочной. Дойдя до дома, он позвонил; не дождавшись ответного жужжания замка, надавил на дверь. Она не поддавалась.

Было три часа. Каспар обошел квартал и, вернувшись обратно, увидел на втором этаже женщину, которая стояла у окна, опершись на лежавшую на подоконнике подушку. Что ей сказать, если на звонок опять никто не ответит, а она спросит, кто ему нужен? Она сразу поймет, что он с Запада. Его друзья из Восточного Берлина однажды, когда он собрался в Потсдам осматривать Сан-Суси, шутки ради перечислили признаки, по которым его, Каспара, мгновенно можно распознать как «веси»⁷, и надавали ему советов, как ему следует одеться и чего избегать. Надо было и сегодня одеться так же! Что подумает эта женщина, когда опять увидит перед дверью какого-то «веси»? Что она за человек? Подозрительный? Добродушный? Вдруг она почует классового врага и испугается, что он затевает что-то недоброе? А может, подумает, что это просто влюбленный студент? Ему хотелось взглянуть в ее лицо, чтобы понять это, но тогда ему пришлось бы подойти ближе, а это было рискованно. Он сделал еще один круг, обошел два квартала, а вернувшись и увидев, что она все еще торчит в окне, обошел еще три квартала и в конце концов остановился на набережной Шпрее.

Декабрьский туман серой пеленой висел над городом, приглушая звуки и размывая краски. Но Каспар как-то странно отчетливо видел дома, улицы, реку. Как будто опасность всей этой затеи обострила его взгляд и чувства: предметы приняли более резкие очертания, пила в соседней мастерской визжала как-то особенно пронзительно, запах, исходивший от мусорных контейнеров, был на редкость едким, а дыхание ветра на его щеках так остро ощутимо, словно незримая стена, отделявшая его до этого от окружающего мира, вдруг растворилась в воздухе.

Он сел на берегу и стал смотреть на воду. Биргит как-то рассказывала ему о скучных воскресных днях своего детства, о ненавистных прогулках вдоль Шпрее в любую погоду, мимо одних и тех же речных ландшафтов с баржами и складами, домами с садиками и палисадниками, то подходившими прямо к воде, то отступавшими вглубь кварталов, до Кёльнише-Хайде⁸ и обратно. Он тоже помнил воскресенья своего детства, когда его одолевала скука. Когда его ничто не привлекало и не интересовало – ни игры, ни книги, когда он бесцельно слонялся по дому, заходил в комнату сестры, заглядывал в кухню; взяв яблоко, выходил в садик, ложился на траву, но тут же опять вставал; разок-другой пнув мяч в стену, бросал его. Это были родные сердцу воспоминания о странном состоянии блаженно-дремотной пустоты. Вот и сейчас ему нечем было занять себя, свои мысли. Он бы с удовольствием выключил, погасил сознание и предался этой неге анабиоза. Но он был возбужден, напряжен, как зверь, готовящийся к прыжку.

⁷ Разг. «западный немец» (от *Westen*).

⁸ *Кёльнише-Хайде* – часть городского района Нойкёльн.

Потом ему стало холодно. День выдался мягкий, над рекой реял теплый ветер. Но земля была холодная. Он встал и на негнущихся ногах пошел назад. Женщина в окне исчезла, хотя окно все еще было открыто, и когда он позвонил и ему опять никто не открыл, сверху раздался голос:

– Вы к кому, молодой человек?

Не поднимая головы, он пожал плечами и, выразив руками недоумение и сожаление, ушел.

Он отправился по описанному Биргит маршруту до Кёльнише-Хайде и обратно. Смотреть было не на что, и он понял ту скуку, которую она испытывала во время воскресных прогулок. Скукой можно наслаждаться только в одиночестве, только пустившись по ее волнам, а не идя за руку с матерью или старшей сестрой, которая тащит тебя за собой, как на веревке.

Потом стемнело. Когда Каспар снова подошел к дому, окно, из которого выглядывала женщина, было закрыто, а за тонкой занавеской горела яркая лампа. В предполагаемых окнах Биргит света не было, и дверь на его звонок опять никто не открыл. Ему вдруг стало страшно. Причин, по которым отсутствовали Биргит и Хельга, могло быть много. Но бабушка почти не покидала квартиру из-за больных ног, и если и ее не было дома, то это могло означать какой-нибудь несчастный случай, собравший всю семью в больнице у постели пострадавшего. И когда кто-нибудь из них появится, оставалось загадкой. А ему нужно было до полуночи быть на Фридрихштрассе.

Он купил в булочной две булочки и сунул их в карман пальто. Нерешительно постоял на тротуаре. Школа напротив была погружена во мрак. Он пересек улицу, нашел в подворотне нишу за колонной, в которой можно было стоять или кое-как примоститься на цоколе колонны и наблюдать за домом Биргит, и принялся за булочки.

Улица была пустынна. Лишь изредка проезжала какая-нибудь машина с трескучим мотором и вонючим выхлопом. Каждые десять минут мимо проползал битком набитый трамвай, а через десять минут возвращался почти пустым. Люди тоже появлялись из-за угла с интервалом в десять минут; электричка привозила их на отдых с фабрик и из контор. Каспар видел их в свете фонарей в пальто, куртках, в платках, рабочих комбинезонах, с шарфами на шее, с папками под мышкой; они размахивали при ходьбе руками или держали их в карманах, шагали с усталыми, бодрыми или невозмутимыми лицами. Кто-то из них исчезал в подъездах дома напротив, а через минуту-другую в одном из окон загорался свет. Чем больше времени проходило, тем меньше людей привозила электричка.

Каспару еще не доводилось наблюдать за спешащими мимо людьми. Конечно, ему случалось сидеть или стоять где-нибудь и видеть прохожих. Но он обычно с кем-нибудь беседовал, или читал книгу, или был занят своими мыслями. Сейчас он ничего не делал – он только наблюдал, и ему вдруг пришло в голову, сколько жизней проходит в эти минуты мимо него и в каждой – какая-то работа, квартира, семья или одиночество, свое счастье, свои заботы; каждая из этих жизней как-то приспособилась к миру или вступила с ним конфликт. Он жил своей жизнью, и другие жизни были для него как окружающие его дома, и улицы, и деревья. Только когда он вступал с ними во взаимодействие, у него появлялись определенные чувства в отношении этих жизней и того, что они для него означали. Сейчас же он впервые подумал о том, что они означали сами для себя: каждая из них была отдельным миром, целостным, совершенным. Да, он любил Биргит, и она любила его. Она не хотела, чтобы он переехал к ней в Восточную Германию, она хотела к нему, в Западную. Но у нее была своя жизнь, тоже по-своему целостная и совершенная, только она была ему незнакома, он не знал, что в ней хорошего, а что плохого. Она взяла его в свою жизнь. И все же он вдруг почувствовал себя пришельцем, инопланетянином и испугался.

Потом все стихло. Лишь изредка из-за угла появлялся одинокий прохожий или проезжала мимо машина, которую Каспар слышал еще издали. Неподалеку от школы стояла цер-

ковь, которую он видел по дороге от станции и боя курантов которой он так и не дождался: они не работали. А может, часы на церковной башне просто несовместимы с социализмом. Зато трамваи работали как часы: теперь они проезжали с интервалом не в десять, а ровно в двадцать минут. Два соединенных друг с другом ярко освещенных аквариума на колесах с несколькими пассажирами или совершенно пустые. Свет в большинстве окон дома напротив стал голубым. Интересно, что они там смотрят?

Каспар вышел из-за колонны и прошел несколько метров без всякой цели. Было приятно немного размять ноги. Но какой-то энергично шагающий прохожий окинул его подозрительным взглядом, и он поспешил ретироваться обратно в свою нишу. Ему вдруг пришло в голову, что иногда во время поездок на поезде он, приехав в пункт назначения, неохотно покидал вагон – не потому, что его манили неизведанные дали, а потому, что этот поезд на некоторое время заменял ему дом. Ниша за колонной, вечерняя тьма, скудный свет редких фонарей, немногочисленные звуки улицы, визг трамвайных колес – все это нравилось ему. Если бы его не мучил страх, что Биргит вовремя не вернется домой и он опоздает на Фридрихштрассе, он чувствовал бы себя в этой нише как дома.

Из-за угла вышла молодая женщина. Это была не Биргит, но она чем-то напоминала ее и направилась к тому самому подъезду. Каспар ринулся вслед за ней через улицу. Это была Хельга. Она коротко взглянула на него, но ничего не сказала, а молча открыв дверь, вошла в тускло освещенный подъезд. Каспар так же молча последовал за ней. Только открыв дверь квартиры и включив свет, она повернулась к нему. «Какая она красивая! – подумал он. – Красивая, загадочная и привлекательная... Почему я до сих пор не замечал этого?»

– Мне нужны фото Биргит на паспорт, – промямлил он смущенно.

Хельга кивнула, жестом велела ему подождать в прихожей и прошла вглубь квартиры. Где-то пробили часы – восемь ударов, таких же, какими Биг-Бен отмечал каждые полчаса. Половина одиннадцатого. Каспар наслаждался теплом. Только сейчас, в помещении, он понял, как замерз и как жаждал тепла. Хельга вернулась через несколько минут с почтовым конвертом. Он сунул его в карман.

– Спасибо.

– Рост у нее метр семьдесят четыре, глаза карие.

Она обняла его. Каспар почувствовал ее тело и тоже хотел обнять ее, но не успел.

– Береги ее! – сказала Хельга и, отстранившись от него, открыла ему дверь.

9

За время всех этих приготовлений было еще кое-что, что произвело на Каспара сильное впечатление: женщина с желтым шарфом.

Они с Биргит хотели вместе отпраздновать Рождество в Берлине. Подруга Биргит уехала в Гарц⁹ и оставила Биргит свою квартиру. Каспару пришлось бы каждый день въезжать в Восточный Берлин и выезжать из него, зато у них целую неделю была бы своя квартира! Но ему нужно было домой, чтобы одолжить у друзей недостающую сумму, необходимую для побега. Друзья не подвели – один дал пятьсот, другой триста марок. В начале января Каспар вручил своим гангстерам в пальто из верблюжьей шерсти конверт с пятью тысячами марок.

Две недели спустя они выдали ему документы для Биргит. И не только для нее. Через два дня должна была бежать еще одна женщина, и они попросили Каспара передать ей документы. С ней нужно встретиться завтра в два часа перед входом в оперный театр. На шее у нее будет желтый шарф, и, когда он заговорит с ней, она спросит: «Вы и в самом деле из Венеции?»

На пограничном КПП на Фридрихштрассе его уже несколько раз просили пройти в заднюю комнату и раздеться до трусов. Если проверка будет и завтра, сказал он себе, то уже не важно, сколько фальшивых паспортов при нем найдут, один или два, и, сразу успокоившись, благополучно прошел контроль.

Женщина с желтым шарфом стояла у подножия лестницы перед оперным театром, в углу между ступенями и основанием колоннады, вжавшись в стену, словно желая в ней раствориться.

– Вы и в самом деле из Венеции?

Она была высокая, плотная, с красивым настороженным лицом и решительным голосом. «Почему эта решительность в голосе кажется такой нарочитой?» – подумал Каспар и кивнул.

– Я не возьму паспорт, – произнесла она, понизив голос. – Я не поеду. Не могу.

– Я вас не понимаю. Все готово. Деньги уплачены, иначе бы эти люди не отдали мне документы. Ведь ваш...

– Жених.

Каспар подождал несколько секунд, но она не стала продолжать.

– А почему вы не можете?

Она смотрела в сторону.

– Праздник в среду не состоялся. Его перенесли на завтра. А мы рассчитывали, что он пройдет в среду.

– Какой праздник?

– Мы готовились к нему целый месяц. Дети так ждут его! Я подготовила с ними спектакль. Без меня они не смогут... – Голос ее пресекся, она достала носовой платок и отвернулась.

Каспар растерянно молчал. Она что, плачет? Что ему делать? Погладить ее по плечу? Или обнять?

– Детский праздник... – Она опять повернулась к нему и заговорила с той же фальшивой решительностью в голосе. – Я работаю заведующей в детском саду. Я не могу сорвать этот праздник. Я понимаю, что вам трудно это понять, и не осуждаю вас, я не осуждаю и Александра...

– Вы решили остаться?

– Остаться, бежать... Оставьте меня в покое! Завтра я не могу, вот и все. Не могу! – Она посмотрела на него отсутствующим взглядом, как упрямый ребенок. – Я пошла.

⁹ Гарц – горы в Германии, расположенные на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

И, не сказав больше ни слова, она пошла прочь, перешла на другую сторону Унтер-ден-Линден. Каспар смотрел ей вслед, пока она не скрылась между Нойе Вахе¹⁰ и Цейхгаузом. Ему хотелось понять, как такое возможно. «Когда вы решили бежать, вы ведь знали, что здесь для вас все кончится – и детский сад, и дети, и праздники, и все остальное? – думал он. – Как же можно перечеркнуть такое серьезное решение одним лишь нежеланием сорвать чей-то праздник?» Может, некоторым людям просто трудно перешагнуть порог своего будущего? Может, они способны принять его умом и душой, только когда оно еще далеко, когда, скажем, еще лето, а бегство запланировано на январь и воспринимается пока как нечто абстрактное? А когда оно приближается и обретает конкретные черты, они испуганно шарахаются от этой реальности. Может, именно так многие французские дворяне во время революции упустили возможность бегства, хотя им грозила гильотина? А этой заведующей детского сада грозит не гильотина, а всего-навсего лишение шанса на жизнь вместе с Александром в Западной Германии, которая, возможно, всегда была для нее некой абстракцией.

Времени у него было много: они с Биргит договорились встретиться в пять часов у церкви Святой Марии, неподалеку от здания экономического факультета, на котором училась Биргит. Она как ни в чем не бывало ходила в университет, словно и не собиралась никуда бежать. Каспар не мог даже представить себе, что и она в последний момент вдруг возьмет и передумает. Но Биргит считала, что бегство еще не повод прогуливать лекции и семинары.

«А что бы делал я, если бы знал, что завтра мне предстоит оставить позади старую жизнь и начать новую?» – думал Каспар. За день до смерти посадить дерево, жить так, словно ничего не случилось, – он тоже не знал более разумной программы. Если, конечно, эта программа не грозила перечеркнуть твои планы на новую жизнь.

Он бесцельно бродил по улицам. Восточный Берлин он знал уже хорошо и не боялся заблудиться и опоздать к пяти. Небо опять висело над городом серой пеленой. Время от времени накрапывал дождь. В теплом воздухе Каспару чувствовалось дыхание весны. Со дня его первого приезда в Восточный Берлин ему здесь многое стало уже почти родным: бульжные мостовые, невзрачные старые дома, незастроенные участки, маленькие неказистые парки, немногочисленные вонючие автомобили. Теперь ему предстояла долгая разлука с Восточным Берлином. После побега Биргит служба госбезопасности основательно займется изучением ее друзей и знакомых, ее связь с ним, Каспаром, скоро обнаружится, и он станет в глазах властей главным организатором ее побега.

Он до сих пор так и не собрался посетить Доротеенштадтское кладбище. Сегодня была последняя возможность это сделать. Он бродил среди могил знаменитых философов и писателей, актеров и политиков. Когда-то при жизни многие из них были врагами, а теперь покоились рядом, в тесном соседстве друг с другом. Каспар представил себе множество книг, стоящих на полках библиотек и магазинов в таком же тесном соседстве – Гегель рядом с Кантом, Маркс рядом с Фейербахом, Гейне рядом с Платеном. «Книготорговец – вот кем ты должен стать!» – мелькнуло у него в голове.

Потом они встретились с Биргит. Он передал ей документы, дорожную сумку, косынку, пачку «Мальборо» и объяснил, как она должна была действовать. Оба чувствовали себя неловко. Каспар с того дня, когда прождал ее целую вечность, не мог избавиться от мысли, что вторгся в ее жизнь. Он чувствовал, что ей страшно, что она боится даже думать о последствиях, которые ждут ее в случае неудачи, но старается не показать виду. Они обнялись и долго молча стояли так, не в силах оторваться друг от друга. Пока не услышали смех и свист каких-то проходивших мимо юнцов.

– Я люблю тебя, Биргит.

¹⁰ *Нойе Вахе* – мемориал жертвам Наполеоновских войн, построенный в 1816–1818 гг. как караульное помещение для королевской гвардии.

– Я тебя тоже.

– Увидимся в субботу в Темпельхофе.

Она кивнула, поцеловала его и пошла к станции городской электрички. Ему хотелось еще немного побыть с ней, погулять, может, выпить кофе или пива. Но она ушла. Что ж, если ей так легче... В субботу он снова обнимет ее в Темпельхофе.

10

Так и случилось. Шестнадцатого января 1965 года Биргит прилетела в аэропорт Темпельхоф, и с этого момента не просто началась их совместная жизнь. До того Каспар принимал жизнь такой, какой она была, подчинялся ее требованиям. То, что он забрал Биргит в Западную Германию, тоже было лишь следствием их взаимной любви. Но поиски и аренда маленькой квартиры, отказ от учебы, курсы книготорговцев, ответственность за книжный магазин, налаживание успешной торговли, приобретение большой квартиры – это уже было не покорное подчинение требованиям жизни, а управление ею. Это была *его* жизнь, и началась она шестнадцатого января 1965 года. 16.1.1965... Если бы ему понадобилось какое-нибудь заветное число для лотереи, он бы воспользовался именно этой датой и наверняка выиграл бы.

Но и эти цифры не открыли ему доступ к компьютеру Биргит. Паролем в конце концов оказалась комбинация букв «кбаисрпгаирт», их имена, перемешанные друг с другом: Каспар и Биргит. Это его обрадовало. Монитор был поврежден; на компьютере можно было писать, но прочесть написанное не представлялось возможным. Неужели Биргит это не мешало и она продолжала работать на неисправном компьютере?

Каспар попросил распечатать ему файлы. Все? Да, все, независимо от их количества, объема, краткости и степени банальности текстов. Он хотел знать, что собирала, хранила, писала и думала Биргит, что было в ее мозгу, а потом вошло в память компьютера, воплотившись в тексты.

Но когда он, получив внушительную стопку бумаги, поднялся в комнату Биргит и сел за ее стол, ему стало страшно. У него было такое чувство, как будто он, чтобы заглянуть в ее мозг, срезал верхнюю часть черепа и снял ее, как крышку, он пренебрег ее желанием защитить свой мозг и разрушил эту защиту. Он вспомнил, как, придя за ее фото и сидя в подворотне школы напротив ее дома в ожидании ее возвращения, чувствовал себя пришельцем, хотя она пригласила и впустила его в свою жизнь. Теперь он собирался прочесть то, что было сохранено в памяти компьютера и защищено кодом. Код удалось расшифровать, но это не давало ему права вторгаться в чужое хранилище. Даже поддавшись злости, поднимавшейся в нем при мысли о стихах и почти законченном романе, которые она от него утаила.

Взгляд его упал на первый лист – это была распечатка электронного письма, в котором Биргит полгода назад подтверждала получение из ремонта часов, – и он принялся за чтение. В мейлах не было тайн; в них разворачивалась картина их будней последних лет, будней Биргит и их общих будней. Приглашения, согласия, отказы, поздравления с днем рождения, пожелания здоровья или скорейшего выздоровления, заказы билетов на концерт, в театр, в оперу, его письма, в которых он, будучи на Лейпцигской книжной ярмарке и не дозвонившись до нее, желал ей спокойной ночи, письма, в которых они обсуждали какие-то житейские мелочи или обменивались предложениями и проспектами по поводу предстоящего отпуска. Южный Тироль, винодельческая усадьба и пансион на склонах холма в Больцано, где они собирались отдыхать, путешествуя по окрестностям, Венеция и Триест, куда хотели отправиться в последние дни отпуска. Он любил каникулы с Биргит. Она мало пила, у нее была ясная голова и веселое, горячее сердце. Они много гуляли, плавали, читали вслух, лежа в постели.

Без Биргит он не поедет в отпуск. Он теперь вообще никогда не поедет в отпуск. Не поедет на концерт, в театр. Без нее он не сможет даже просто радоваться будничной жизни с ее ритмичным чередованием дома и работы, утренних и вечерних прогулок, с ее привычными ритуалами и манипуляциями, с новыми книгами; жизни, в которой ему было так хорошо и покойно. Привычки «функционировать» он не утратил со смертью Биргит и никогда не утратит. Это было единственное, что у него еще осталось.

Он смотрел в ночную тьму, и эта тьма была не только за окном, но и в нем самом. Ему вспомнился Орфей, который спустился в царство теней и нашел Эвридику, потому что был исполнен света. Благодаря этому свету он своим пением и игрой на кифаре очаровал перевозчика Харона, который перевез его на своей ладье на другой берег Стикса, а потом Цербера, охранявшего врата Аида. «Интересно, смог бы я найти Биргит, если бы и во мне был такой же свет, как в Орфее, если бы моя любовь к ней сияла так же, как его песни?» – подумал Каспар. Он на мгновение словно в зеркале увидел себя и Биргит в свете своей любви. «Пошла бы она за мной и за светом? Хватило бы у меня веры не оглядываться на обратном пути в жизнь? Или я малодушно захотел бы удостовериться в том, что она идет за мной? А может, возмущенный и обиженный ее скрытностью, сразу же призвал бы ее к ответу?»

Ему вдруг стало страшно, что Биргит при всей его тоске и скорби по ней ускользнет, исчезнет, как исчезла Эвридика на обратном пути в жизнь. Хотя она и умерла, она все еще была здесь, с ним, но, если он перестанет верить в нее и начнет злиться и обижаться на нее, она, возможно, умрет еще раз и уже навсегда.

11

Следующие несколько дней Каспар читал электронные письма Биргит. В них были не только будни последних лет, но и дружеские связи в ее литературном объединении, ее участие в охране окружающей среды, переговоры по поводу предстоящих акций. На следующее лето она на несколько дней забронировала какую-то хижину на дереве в лесу, который должны были выкорчевать, чтобы на его месте построить трассу. Об этом она тоже ничего ему не говорила.

После электронных писем пошли уже знакомые ему тексты; распечатки лежали в папках. Один большой текст он видел впервые. В отличие от других, он был озаглавлен: «Суровый Бог». Начинался он с вопроса о том, как сложилась бы судьба Биргит, если бы она осталась в ГДР, и, судя по всему, представлял собой фрагмент романа или воспоминаний, а может, автобиографического очерка. Во всяком случае, это не было чем-то будничным, нейтральным, изучением чего он мог заняться с легким сердцем. Если он сейчас продолжит чтение, он вторгнется во внутреннюю жизнь Биргит против ее воли, откажется от той проникнутой любовью деликатности, с которой относился к ее решениям внести в жизнь те или иные коррективы и к той тайне, которой она окружила свое литературное творчество.

Поскольку Эвридика в царстве мертвых была тенью, Орфей по дороге назад в жизнь не мог слышать звук ее шагов. Шла она за ним или нет, оставалось для Орфея мучительной тайной. Каспар знал, что вырвать у Биргит тайну ее текста означало оглянуться на нее. Сколько нового бы он о ней ни узнал, какие бы новые стороны ее души ни открыл, – она будет все больше отдаляться от него.

Он не стал читать дальше. И снова несколько недель не заходил в комнату Биргит. Он ждал, когда время заживит рану, нанесенную ее смертью, но рана не заживала. Утром он уходил в магазин, а вечером возвращался домой, ел обычно либо все тот же рис с курицей из микроволновки, либо, когда забывал его купить, пиццу у итальянца на углу, по воскресеньям заставлял себя выходить на прогулку, а если шел дождь, отсиживался в кинотеатре, несколько раз принимал приглашения своих озабоченных его состоянием сотрудников на семейный ужин, по вечерам, за чтением очередной новинки, пил больше, чем прежде. Кончилась весна, наступило грозное лето. Ему нравилось смотреть из окон магазина на черные тучи, на взметаемые ветром клубы пыли вперемешку с листьями и бумажками, бежать домой под проливным дождем, сквозь гром и молнии, промокнуть до костей, продрогнуть, а потом согреться под горячим душем – все это оказывало на него благотворное действие. А когда, вытершись после душа и надев махровый халат, он ходил по квартире, в голове у него мелькало: «Еще не погасла в тебе, старый мерин, искра жизни!»

Как-то раз вечером он вдруг почувствовал полное безразличие к судьбе Эвридики. Он много выпил, и в нем вдруг вскипел гнев на Биргит, гнев, в который превращается скорбь, которая больше не может терпеть свое бессилие. Этот эгоцентризм, эта беспощадность, это ослиное упрямство, это вечное нытье! Почему он всегда должен был ей угодить, терпеть все эти ее порывы и взрывы, убирать ее блевотину?

Качаясь и держась за стену, он поднялся по лестнице в комнату Биргит, грузно опустился на стул перед письменным столом и принялся читать. Но он был пьян, а текст оказался сложным, у него стали слипаться глаза. Взяв рукопись с собой, он пошел вниз, споткнулся на лестнице, с трудом удержался на ногах, но выронил бумаги, и они разлетелись во все стороны, усыпав ступени и пол в прихожей.

Утром он собрал их. Эвридика была потеряна. Но теперь это уже не имело значения. Он опять поднялся с рукописью в комнату Биргит, сел за стол и начал читать.

Суровый Бог

Что было бы со мной, если бы я осталась? Если бы не встретила Каспара, не влюбилась в него, не решила связать с ним свою жизнь? Если бы мне не пришла эта мысль, это понятие – «уйти», если бы я знала только его антоним – «остаться»?

На комодe стояло фото отца в серебряной рамке с черной траурной полосой над нижним правым углом. На петлице мундира – череп и кости. Маленькая девочка смотрела снизу вверх на фото, на это приветливое крепкое лицо, на добрые, излучающие тепло глаза, и с болью думала об отце, не вернувшемся с войны. Не вернувшемся с войны? Нет, он был здесь и каждый день требовал самодисциплины, верности долгу и выдержки. Так говорила мать. Еще она говорила, что он был героем, о чем сейчас лучше помалкивать, хорошим мужем и хорошим отцом. Это лицо грозно возвышалось над маленькой девочкой, оно возвышалось над ней, когда она выросла. Где бы она ни была, оно стояло у нее за спиной, куда бы ни пошла, оно следовало за ней по пятам, бросало на нее свою тень. Тень смерти.

Девочка переворачивала фото лицом вниз, но отец снова поднимался, снова вставал за ее спиной, снова бросал на нее свою тень. Тень мрачного прошлого. Девочка хотела стать частью новой эры. В которой люди, боровшиеся с ее отцом и освободившие страну, создавали новую страну и нового человека. Заслуживала ли эта девочка, окутанная тенью прошлого, быть новым человеком в новой стране? Может быть. Если она выдержит испытание, если станет кроткой и послушной.

Я старалась. Если бы я осталась, продолжала бы я стараться и дальше? А если бы мои старания не принесли результата? Я обвинила бы в этом себя? Потому что носила на себе печать прошлого? Потому что новая эра не могла быть виновна в моей неудаче? Потому что новая эра – это добрая эра?

Если бы в один прекрасный день я окончательно убедилась, что наш корабль идет неверным курсом, что задачи, которые нужно решать, ложны, а все старания бессмысленны, – я и тогда не восстала бы против этой «новой эры»? И она так и осталась бы для меня «доброй эрой»? И я бы вместе с другими продолжила ткать этот мягкий, заглушающий все звуки ковер лживых надежд? Экономика новой страны в упадке, зато в ней покончено с ненавистным игом частной собственности, она обеспечивает каждого всем необходимым, гарантирует каждому работу и никого не эксплуатирует. Культура новой страны застыла, окаменела – вожди поселились в борьбе со злом, не согнулись перед врагами, а то, что не гнется, должно застыть, окаменеть. Вожди новой страны не доверяют гражданам; недоверию их научила борьба, а научившись ему однажды, они уже не могут от него освободиться. Если они не могут привести нас в светлое будущее так быстро, как нам бы этого хотелось, то мы обязаны проявить по отношению к ним как минимум уважение и терпение. Мы не имеем права вырывать у них из рук факел. Наш долг – помочь им нести его, пока они, обессилев, сами не отдадут его в наши руки. И тогда все будет зависеть от нас – пойдем ли мы дальше, достигнем ли цели, завершим ли строительство.

А мое чувство вины, связанное с тенью отца, не позволявшее мне противиться всему этому? Неужели оно не позволило бы мне и элементарного честолюбия? Неужели я удовлетворялась бы малым – работой библиотечарши или делопроизводителя? А если бы эта библиотека, или контора, или фабрика выжила после объединения, я бы адаптировалась к новым законам, к новой технике и к новому начальству и в то же время продолжала скорбеть о старых несбывшихся надеждах? О моей прежней маленькой стране, которая хотела стать новой страной для новых людей? Обо всем, что могло бы свершиться, если бы... не знаю что, но что-то ведь должно было быть, ведь должно же было все получиться как-то иначе, лучше...

Нет, не так. Я была не такой уж маленькой, глупой и послушной. Я не осталась девочкой, окутанной тенью прошлого. Я избавилась от власти фото с траурной лентой, оставила позади тень отца и слова матери. Я поверила в новую эру, которая рождает новую страну и нового человека, и в свое право быть этим новым человеком в новой стране. Я старалась всячески

способствовать тому, чтобы новая эра стала светлой эрой. Я всегда была кроткой. Но не всегда послушной.

Если бы я поняла, что экономика в упадке, что инициативу и творческую фантазию душат, что руководство страны строго контролирует граждан, что корабль идет неверным курсом, что поставленные задачи ложны, а все старания бессмысленны, я бы не восстала против новой эры. Но я бы надеялась, что факел вырвут из рук старых вождей и отдадут в молодые руки. Я бы по-прежнему верила в цель, но искала бы другой путь. Весной 1968 года я бы решила, что пражские события и есть тот самый путь, в 1985–1986 годах приняла бы за него перестройку Горбачева в Москве. Наконец, в ноябре 1989 года приветствовала бы Берлинскую весну и немецкую надежду на гласность и перестройку.

Как бы я жила при всех этих перипетиях? Сделала бы карьеру – в какой-нибудь школе, в каком-нибудь издательстве или культурном, а может, научном учреждении? Потом встала бы им поперек горла, нажила себе кучу проблем, загремела на два-три года на производство? Нашла бы в конце концов свою нишу, как это сделали многие? Мне нравились иностранные языки, девочкой я переписывалась с казахским школьником. Я могла бы выучить казахский язык и переводить казахскую литературу на немецкий, а параллельно писать стихи. Неплохая жизнь? Вполне возможно, я благополучно жила бы в своей нише, в спокойствии и печали, а в ноябре 1989 года даже смогла бы стать счастливой.

Но в 1990 году и Берлинская весна, и гласность, и перестройка в Германии тоже кончились. И про «нишу» в 1990 году тоже пришлось бы забыть. Казахская литература в немецком переводе никому была бы уже не нужна, маленькое издательство, которое печатало бы мои стихи, обанкротилось бы, а дом в Пренцлауэрберге, в котором я снимала бы дешевую квартиру, купил и превратил бы в элитарное жилье какой-нибудь инвестор. Что бы я тогда делала? Перебралась бы в Марцан¹¹ и стала бы жить на социальную помощь?

Или стала бы в 1990 году очень востребованной переводчицей, работающей на немецкую фирму, которая сотрудничала бы с Казахстаном? И хорошо зарабатывала бы. Настолько хорошо, что смогла бы взять ссуду и выкупить свою квартиру, воспользовавшись преимущественным правом приобретения? И, бросив писать стихи, перешла бы на шлягеры или рекламные тексты? И умножила бы число тех, для кого объединение стало счастливым билетом в новую, сытую жизнь?

Или все сложилось бы совершенно иначе? Может, после любви к Лео, после его обмана и рождения дочери я стала бы совсем другой? Разочарованной, раздавленной, озлобленной? Внебрачный ребенок в то время не был такой уж проблемой, если мать сама была морально готова к этой ситуации. А была ли я морально готова к этой ситуации? Или в фальши Лео я бы увидела фальшивость системы, а в цинизме, с которым он хотел меня использовать в своих целях, цинизм, с которым использовала людей система? Порвала бы я с этой системой, оспорила бы права того мира, в котором мы жили, на меня и на моего ребенка? Поняла бы я свою мать – не ее любовь к человеку со зловещей эмблемой на петлице, а ее жизнь вне и против этого мира? Осталась бы я с дочерью под одной крышей с ней и бабушкой?

Мне было бы безразлично, как я зарабатываю себе на жизнь в нелюбимой эре в нелюбимой стране. Уж я, наверное, что-нибудь придумала бы, нашла бы что-нибудь.

Я как-нибудь продержалась бы на плаву, ничего не ожидая и потому не боясь разочарований, даже от своей дочери. С объединением ничего бы не изменилось. Да и что могло измениться? Я по-прежнему жила бы вне и против мира, упорно топя вперед и чертыхаясь себе под нос. Обрадовалась бы я тому, что алкоголь стал лучше? Или уже не заметила бы этого?

Я рада, что не осталась. Рада, что уехала. Я не хочу ни одной из этих непрожитых жизней. Но я не могу от них избавиться. Мои непрожитые, как и прожитые жизни всегда со мной. Они

¹¹ Марцан – спальный район в бывшем Восточном Берлине.

печальны, и я несу эту печаль жизни с чувством вины, печаль жизни в нише, печаль жизни вне и против мира.

Источник моей печали – ГДР. Восторг перед новой эрой, надежда на новую жизнь и нового человека, былая готовность к действию и к самопожертвованию... Пусть от начала ничего не осталось, но оно было. Пусть ничего не осталось от попыток развивать страну, несмотря на систему и вопреки системе, от уверенности, что социализм и свобода неотделимы друг от друга и что будущее за ними, – это было, и это была реальность, добрая реальность как антипод злой реальности реального социализма. Ее исчезновение наполняет меня печалью, хотя я и знаю, что добрая реальность могла существовать лишь как антипод злой реальности и без нее должна была исчезнуть.

Когда живешь в стране со злым режимом, то надеешься на перемены, и однажды эти перемены наступают. Злой режим сменяется добрым. Если ты был против этого, теперь можно быть за. Если тебе пришлось отправиться в изгнание, теперь ты можешь вернуться. Эта страна будет и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался, это будет страна, о которой они мечтали. ГДР никогда не будет страной, о которой мечтали. Ее больше нет. Те, что остались, не могут больше радоваться за нее, те, что уехали, не могут больше в нее вернуться. Их изгнание не будет иметь конца. Отсюда эта пустота. И страна, и мечта утрачены навсегда.

Меня печалит не невозможность утраты. Меня печалит пустота. Пустота, боль, пустота, боль...

* * *

Январь. Субботняя прогулка к плотине Квитцдорф. С утра была мягкая погода, к обеду похолодало, и мы развели костер. Когда появился Лео, мы подумали, что сейчас будет скандал. Но он рассмеялся. И посоветовал в следующий раз получить разрешение на разведение огня, а когда будем уходить, как следует залить костер и все убрать. Сказал, что пришел вовсе не для того, чтобы контролировать нас; просто хотел узнать, как мы проживаем. Мы его первая студенческая бригада. Он всего лишь год как секретарь районного комитета. Потом он подсел к костру. Ел и пил и пел с нами.

Интересно, он и в самом деле намеренно подошел ко мне, как потом мне сказал? Или это все же была случайность? И он просто решил пройтись, размять ноги, когда я села у воды, в стороне от компании? Сначала он остановился рядом, потом присел на корточки, предложил мне сигарету и, щелкнув зажигалкой, дал мне прикурить. Я хорошо запомнила, как он встряхнул пачку, чтобы выскочили две сигареты; одну взяла я, вторую он вытащил губами.

У костра мы говорили о собаках, и он продолжил эту тему.

– У моего брата была собака, помесь овчарки с фокстерьером, жутко некрасивый, но милейший и преданнейший пес. Настоящий товарищ. А товарищ – это ведь значит, что у него такие же права, как у тебя, верно? И мы иногда шли в лесу налево, а не направо, потому что Като хотел налево, и покорно смотрели, как он плавает в вонючем болоте, зная, что потом придется его мыть, а это, прямо скажем, не самое наше любимое занятие. И все же *мы* распоряжались его жизнью. Когда ему хотелось гулять, а у нас не было желания тащиться на улицу, ему приходилось сидеть дома. Когда ему нужно было изучить все «записки» на деревьях и столбах, а нам нужно было торопиться, мы тащили его за собой на поводке. Мы решали, что ему есть. А потом мой брат решил, что его нужно усыпить. Я бы не смог иметь собаку. Иметь товарища и распоряжаться его жизнью...

– А разве секретарь районного комитета не похож в этом плане на собачника? Ведь его подчиненные и граждане – тоже в какой-то мере товарищи, а он распоряжается их жизнью.

Он рассмеялся, и мне понравился его смех. Идущий не из горла, а из живота. Он сел рядом со мной на землю.

- Я надеюсь, что я их увлекаю. Я говорю с ними. Я их убеждаю.
- А если их не удастся убедить?
- Тогда их жизнью распоряжаюсь не я, а партия.
- А подчиненные и граждане – собаки...
- Когда я тороплюсь и тащу собаку на поводке, я думаю о себе. Партия думает не о себе.

Она думает о нас.

Он говорил это каким-то особенным, серьезным и в то же время приветливым тоном, не вызывающим сомнений в его искренности. Мне было немного холодно. Я зябко поежилась, и он положил мне руку на плечо, как бы желая согреть. Ненавязчиво, ненахально. К тому же он сразу сказал:

– Идемте к огню.

Но я продолжала сидеть. И даже прислонилась к нему. Именно так мне хотелось, чтобы меня любили – как равноправного товарища.

Тогда я в него и влюбилась.

* * *

То, что от себя никуда не скроешься, что приходится всегда и везде носить с собой свое «я», я знала. Но я не знала, что приходится всегда и везде носить с собой других.

Бабушка. Как она сидела в нашей гостиной, так она сидит и в моей голове. В кресле, с открытыми глазами и сложенными на коленях руками; ноги и живот укрыты пледом; ни книги, ни радио, ни телевизор ей были не нужны; и всегда во всеоружии каких-нибудь злых замечаний или комментариев.

Мать. Зажатая, запуганная, воспитывающая своих трех дочерей в той же строгости, в какой воспитывал ее отец, – суровые увещевания, угрозы, упреки; любая мелочь – прекрасный повод для гневной проповеди.

Гизела. Которая всегда все делала правильно, выбрала правильную профессию, правильного мужа, родила правильных детей, мальчика и девочку. Которая после развода потеряла почву под ногами и которая неустанно заклинала меня никому и ничему не верить.

Хельга. Отгородившаяся от всех – от бабушки, от матери, от Гизелы и от меня – и на примере своей собственной жизни показавшая мне, что, если хочешь сохранить себя как личность, нужно наглухо закрыться.

Они не остались где-то позади, как наша общая квартира и фото отца на комод. Они уехали вместе со мной и продолжают меня мучить – бабушкино злопыхательство, ругань матери, ожесточенность Гизелы, пример Хельги. Они со мной, хотя бабушка умерла вскоре после моего бегства, и матери тоже давно уже нет в живых. Если бы я сама ожесточилась, это были бы ростки ожесточения Гизелы. Но я не ожесточилась. Я впала в глубокое уныние. Пример Хельги не пошел мне на пользу: я слишком усердно ему следовала.

Как сбросить с себя это бремя чужих жизней? Решительно жить своей собственной жизнью. Может, я недостаточно решительно жила своей собственной жизнью?

Потому что и бабушка, и мать, и ГДР, и ССНМ учили меня угождать другим? Потому что я не научилась угождать самой себе, искать свое счастье? Но я освободилась от того, чему меня учили. Я начала искать свое счастье. За счет дочери, за счет Каспара. Я предала их и бросила на произвол судьбы, предоставила Каспару одному тащить наше общее ярмо – магазин, занялась тем, что мне было по душе, поехала в Индию, потом пошла на курсы ювелиров, потом поваров и в конце концов начала писать. Когда пишешь, совсем не думаешь о том, как бы угождать другим. Думаешь только о себе. Нельзя писать для других – для читателей, или критиков, или издателей, для матери или бабушки. Пишешь для себя. Поэтому у меня ничего не получается с романом? Потому что другие не отстают от меня и продолжают меня мучить? Потому

что я все же не смогла освободиться от того, чему меня научили? Потому что я до сих пор так и не научилась этому «для себя»?

Поэтому я и должна писать роман. Потому что должна научиться этому «для себя». И еще я должна бросить пить. Когда я пью, у меня такое чувство, как будто я пью *для себя*, как будто я уже – *у себя*. Как будто завтра или прямо сейчас я сяду за стол – и роман сам хлынет из меня, а может, этого вообще не понадобится, потому что я уже – *у себя*.

* * *

Интересно, нашла бы я кого-нибудь, кто помог бы мне избавиться от ребенка? Или я сама смогла бы это сделать? Пока такая возможность существовала, мне это не приходило в голову.

Вернее, приходило, но Лео не хотел об этом и слышать. Ему нужна она, говорил он, нужен ребенок; нужно только подождать. Они с женой давно уже чужие люди. Оба готовы к разводу. Но из-за его высокого положения развод должен быть безупречным, без копания в грязном белье, без риска, что его обвинят в непростительно легкомысленном отношении к браку. Если он сейчас бросит жену и сойдется со мной, это будет в глазах партии и судьи поступком, противоречащим моральным принципам строителя социализма. Он взял мое лицо в ладони, поцеловал меня и улыбнулся.

– Они не понимают, насколько это для нас серьезно. Я и сам не знал, что такая любовь вообще существует.

Что лучше – слабый Лео, который не способен постоять за свою любовь, или фальшивый Лео, который затеял со мной некую игру? Когда он сказал мне, что не может развестись с женой, – сейчас, когда она больна раком груди и справедливо упрекнула бы его, что он бросает ее в тяжелую минуту, он, как мне показалось, был в таком отчаянии, что я принялась утешать его. Он приехал в Берлин на какое-то заседание, мы встретились в кафе-мороженом, а потом сидели на скамейке в парке Монбизу, и он наконец заговорил об этом. Поскольку в кафе и по пути в парк он был в хорошем настроении и только на скамейке вдруг помрачнел, я отнеслась к его сообщению философски. Я подумала: либо его жене сделают операцию, либо она умрет от рака. Нам просто придется набраться терпения и подождать. Это, конечно, не повод для веселья, но и не трагедия.

Уже через неделю он снова приехал в Берлин. Просто чтобы увидеть меня, и я обрадовалась этому и выпросила у Ингрид ключ от ее квартиры до вечера. Я встретила его на Восточном вокзале, мы поехали на Александерплац, прогулялись до Красной ратуши и пообедали в ресторанчике, расположенном в полуподвальном этаже. Я не спрашивала о том, что нас ждет, а он был таким веселым, что я подумала: он явно приехал с хорошими новостями и сам рано или поздно все расскажет. Мы пошли в квартиру Ингрид, и только в постели, когда он сказал, что мне не следует курить, ведь я жду ребенка, я наконец спросила, как нам быть дальше.

– Ты можешь ни о чем не беспокоиться. Я сам все организую.

– Что организуешь?

– Аборт делать уже поздно, ты не найдешь врача, который бы взялся за это на такой поздней стадии, и домашние средства тоже уже не помогут. Ты будешь рожать. В крайнем случае я возьму ребенка.

– Ты?

Я ничего не понимала. Я не понимала смысл сказанного, не понимала его вдруг изменившийся тон, его странную позу. Он сидел рядом на кровати, как совершенно чужой человек, и говорил со мной, как совершенно чужой.

– Даже не знаю, как тебе это сказать, Биргит... То, о чем мы с тобой мечтали, – утопия. Партия не поймет и не простит этого, а Ирма... Мы с ней отдалились друг от друга, но она всегда была хорошей женой и была бы счастлива иметь детей и испытать радость материнства,

и я не могу причинить ей такую боль – быть счастливым с тобой, построить полноценную семью. Это все равно что отнять у нее ребенка, о котором она так долго мечтала.

– Ты говоришь о моем ребенке?

Я вдруг почувствовала, что после его слов рухнуло, развалилось на куски что-то, во что я верила и что радостно предвкушала. Но я еще не понимала, что именно рухнуло, как рухнуло и что лежит под обломками. Он говорит о моем ребенке? Кто и у кого его отнимает? Что происходит с ним и с его женой? Что ему нужно от меня? Хочет ли он продолжения наших отношений, или это наша последняя встреча?

– Я позабочусь о тебе. Ты уже не можешь избавиться от ребенка. Ты должна рожать. Но тебе нужно закончить учебу, начать работать, сделать хорошую карьеру, и ребенок тебе сейчас совсем ни к чему. Мы с Ирмой возьмем его. Мы будем ему хорошими родителями. Я говорил с Ирмой. Она согласна.

– Ты хочешь отдать моего ребенка своей жене?

– Я думаю, я сумею уговорить Ирму, чтобы ты изредка могла его навещать. Сейчас мне трудно заводить этот разговор, ты должна ее понять: ее переполняет обида, ревность. Но когда появится ребенок, все будет иначе.

Я покачала головой. Потом меня охватила нервная дрожь, я дрожала всем телом – от возмущения, от отвращения, от омерзения. Меня тошнило от Лео, от его лысины, от его интриг. Меня тошнило от его предложения, и от его жены, и от мысли о том, что мой ребенок мог бы жить у этой парочки. Меня тошнило от себя самой. С этим человеком я хотела связать свою судьбу. Этого человека я любила.

У меня даже не хватило силы выдворить его из квартиры. Я молча оделась под его причитания – в чем дело, что случилось, напрасно я так себя веду, что он такого сказал, ведь в его предложении нет ничего оскорбительного – и ушла. Я оделась быстрее его и, промчавшись по лестнице вниз, спряталась во дворе. Я слышала, как он меня звал, что-то кричал мне вслед, спеша за мной, потом щелкнул замок на двери подъезда, и когда я через какое-то время вышла на улицу, его уже не было.

Он не мог мне позвонить, потому что у нас не было телефона. Он написал мне письмо, мол, я неправильно его поняла, он ведь просто хотел мне помочь, нам нужно встретиться и объясниться, он любит меня, нам не суждено жить нашей любовью так, как мы мечтали, но мы можем жить ею, как прежде, он попытается сделать мне квартиру. Я не ответила ни на одно из его писем, а когда он подкараулил меня у выхода из университета, я молча, гордясь своей выдержкой, прошла мимо с таким отсутствующим и неприступным видом, что через несколько шагов, после нескольких повисших в воздухе реплик он отстал.

Он был прав: делать аборт было уже поздно. Все врачи, к которым меня посылали подруги, отказались. Прыганье со стола и чай из можжевельника, болотного багульника и якобеи не помогли. Ковырять себя вязальным спицами я не смогла. О поправках в закон, облегчающих аборт, еще только говорили, их приняли лишь через несколько лет.

Какое-то время я была близка к отчаянию. Тем более что тошнота и рвота мучили меня сильнее, чем я это представляла себе по рассказам подруг, имевших детей. Я даже задумалась, не принять ли его мерзкое предложение: Лео организовал бы квалифицированную медицинскую помощь, безопасные роды и все юридические процедуры, связанные с передачей родительских прав. Но потом вдруг как-то неожиданно, за субботу-воскресенье, наступила весна. И когда я в понедельник ехала в университет – под голубым небом и молодой листвой лип на Фридрихштрассе, – все мои страхи и сомнения как ветром сдуло. Сияло солнце, вместо запаха угля, стоявшего над городом всю зиму, в воздухе разливался аромат свежего весеннего утра, и было так тепло, что я сняла куртку и повесила ее на сумку. Я справлюсь. Я со всем этим разберусь – с беременностью, с родами, с учебой, с работой. И даже если мне придется отдать

ребенка в чужие руки, я сделаю все, чтобы он не достался Лео. И сообщу ему, что родила его, но отдала не ему.

* * *

Часто ли влюбляются беременные женщины? Сначала меня мучили угрызения совести. Ведь мои чувства должны принадлежать ребенку, который растет во мне? Не обделяю ли я его?

Но как я чувствовала себя как женщина! Я всегда была довольна своим телом, насколько женщина вообще может быть довольна своим телом. Телом как чем-то принадлежащим мне. Теперь я была своим телом. Мои формы стали мягче, груди увеличились, волосы приобрели особый блеск, лицо светилось. Я с удовольствием смотрела на себя в зеркале и радовалась, когда мужчины смотрели на меня. А они смотрели на меня и не могли отвести глаз. Они вождели меня. Я была воплощением жизни.

В мае моя беременность была незаметна. Она и потом еще долго оставалась незаметной. Не только потому, что я так одевалась, а еще и потому, что у меня был маленький живот. Я всегда занималась спортом, мышцы живота у меня были крепкими и эластичными. И ела я не больше, чем обычно. Определенную роль, возможно, сыграло и оттеснение беременности на периферию сознания. Когда живот все же стал заметен, начались каникулы. Я поехала к Пауле на Балтийское море и вернулась уже, когда все было позади.

Но об этом я пока писать не хочу. Я хочу писать о том, как я влюбилась. Я была беременна; после любви к Лео и отвращения к нему я чувствовала себя выжженной пустыней, я не могла себе представить, что мне еще когда-нибудь понравится мужчина и я смогу влюбиться. Я наслаждалась этим чувством – что мужчины вожделеют меня. Но это была холодная радость. Если бы я и подпустила к себе кого-нибудь, то только для того, чтобы сделать ему больно.

В мае, на Троицу, был Слет немецкой молодежи. Пропаганды – хоть отбавляй: шествия колонн строевым шагом, процессии со знаменами, показательные выступления гимнастов, танцы, митинги с воззваниями и торжественными обещаниями и приветствия делегаций. Но была и молодежная радиостанция ДТ 64 с бит-музыкой и – впервые в ГДР – «Битлз», и народ танцевал на улицах и площадях. Из Западного Берлина пришли сотни студентов, которым было очень интересно пообщаться с нами, как и нам с ними. Кто-то пришел, чтобы поговорить о политике, о Берлинской стене, об объединении, свободе передвижения и свободе выборов, и мы как члены ССНМ доказали свою идеологическую твердость. Западные гости хотели знать, как мы живем, что нас интересует, как мы общаемся, что делаем во время каникул, как относимся к политике и кем хотим стать. Они задавали нам вопросы, которые мы и сами себе задавали, и это быстро сближало нас. В то же время наши ответы волновали их больше, чем нас, и поэтому мы тоже были взволнованы. Мы познакомились и вместе бродили по городу, сидели на Бебельплац, и в парке Монбизу, и на берегу Шпрее, говорили, танцевали и были очарованы друг другом. Это было острое, пряное чувство – сознание того, что ты в своей синей рубашке ССНМ вызываешь восторженное удивление и вожделение западно-германских студентов.

Каспара я встретила на второй день утром. Хельмут, мой секретарь ССНМ, велел мне явиться на Бебельплац для участия в дискуссиях. Он не без основания предполагал, что члены КХДС¹² захотят вступить здесь, перед Университетом имени Гумбольдта, в полемику со студентами ГДР. Так что мне пришлось обосновывать необходимость «антифашистского оборонительного вала» для защиты от переманивания кадров, подрывной и диверсионной

¹² Кольцо христианско-демократических студентов – немецкая политическая студенческая ассоциация (нем. – Ring Christlich-Demokratischer Studenten, RCDS).

деятельности, шпионажа и саботажа со стороны Запада, разъяснять важность мирного сосуществования как предпосылки объединения Германии, говорить о свободе выборов в ГДР. Каспар стоял, слушал, а потом вдруг вмешался в разговор.

– Зачем вы вообще говорите друг с другом? – спросил он удивленно. – Вы ведь уже всё знаете – что вы скажете в следующую минуту и что вам ответят. А если кто-то окажется не таким красноречивым, как его собеседник... – Он посмотрел на меня. – Или собеседница... Что это изменит?

Все растерянно уставились на него. Но тут же продолжили дискуссию, словно он ничего не говорил. Каспар еще немного постоял, как бы не желая слишком демонстративно уходить, а потом пошел дальше. Я проводила его взглядом. Он был в джинсах и рубашке; рукава наброшенного на плечи пуловера были завязаны узлом на груди. Он шел выпрямившись, небрежной походкой. Мне понравилась его походка и то, как он смотрел на меня и что он отметил мое красноречие.

Потом я еще раз увидела его на Александерплац. У меня был талон на питание, который надо было предъявить у полевой кухни. Он не знал, что нужен талон, и встал в длинную очередь, а когда женщина с поварешкой объяснила ему, что без талона он ничего не получит, у него был такой разочарованный вид, что я не выдержала и попросила женщину дать ему порцию супа в виде исключения. Он поблагодарил ее, потом меня и пошел за мной с миской на площадь к Дому учителя, где сидело и ело уже много народу. Он стоял, как бы выбирая место, где устроиться, и я видела, что он медлит не потому, что ищет более интересных соседей, а потому что не хочет навязывать мне свое общество. Потом он все же сел рядом со мной, а когда подошли другие, он, потеснившись, придвинулся ко мне и по-свойски мне улыбнулся. Таков уж он был. Он никому не хотел навязывать свое общество, но, встретив ответное внимание, быстро находил с этим человеком общий язык и привязывался к нему.

– У вас просто перерыв или вы уже закончили работу?

– Вы имеете в виду дискуссию на Бебельплац?

– Да. Это ведь работа. И для КХДС, и для ССНМ. Полемика, которая ничего не меняет...

Но вы молодец. Я с удовольствием вас слушал.

– Я не просто так говорила – я верю в то, что говорю.

– О, я совсем не хотел вас обидеть! – произнес он извиняющимся тоном, поставив миску на землю и подняв обе руки. – Разумеется, вы верите в то, что говорите. И другие тоже верят в то, что говорят. Но мне кажется, дискуссии ничего не дают, если не говорить о том, почему ты веришь в то, что говоришь. И на что при этом надеешься, чего боишься, кто ты есть с этим мнением и кем бы ты был без него... Вы понимаете, что я хочу сказать?

– Вы имеете в виду мечты людей?

– И их тоже. Не политические мечты, а личные.

Я молча работала ложкой, задумавшись о том, можно ли вообще отделить одно от другого, вспомнила о своей печальной истории с Лео. Каспар тоже снова принялся за свой суп.

– А у вас есть личные мечты? – спросила я наконец.

Он рассмеялся.

– Есть. Сидеть, например, вот как сейчас, и говорить не о социализме и капитализме, а просто беседовать и обедать в приятной компании.

– А на каком факультете вы учитесь? Кстати, обращение на «вы» для вас принципиально важно? У нас здесь все студенты друг с другом на «ты».

Для него это не было принципиально важно. Когда он представился, я подумала, может, он стесняется своего имени и потому предпочитает вежливую форму обращения. Но он тут же рассказал о трех волхвах, одного из которых звали Каспар, и о том, что он с детства привык и защищать свое имя, и гордиться им. Изучал он германистику и историю.

– Я люблю книги восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые сегодня никто не читает, например, таких авторов, как Карл Филипп Мориц или Фридрих Теодор Фишер. Я немного не вписываюсь в нашу эпоху.

– Поэтому и мечтаешь так, как будто политики вообще не существует. Мы не можем просто беседовать и обедать в приятной компании, пока вы отказываетесь от мирного сосуществования.

Он улыбнулся, и я прочла в его глазах: «Но мы же беседуем и обедаем вместе».

– Мы, в сущности, одно целое. Мы говорим на одном языке, и если тебе не по душе Мориц и Фишер, которые, может быть, не настолько приятны для читателя, насколько интересны, то уж Фонтане, или Дёблин, или Франк тебе наверняка нравятся. Ты на каком факультете?

Я тоже хотела изучать германистику, но мне выпал экономический факультет, и после двух семестров марксизма-ленинизма я начала изучать социалистический учет и бухгалтерию народных предприятий. Я много читала современную литературу, но Каспар был прав: мне нравились и Франк, и Дёблин, и Фонтане.

– А как насчет поэзии? Ты любишь стихи?

Он посмотрел на меня, понял, что я люблю стихи, просиял и начал декламировать:

Синь-лазурь весенних волн
Вновь сквозь ветры лентой вьется,
Дух знакомый, сладкий льется
По земле, предчувствий полн.
И фиалки видят сон:
Скоро сбросят снега крышу.

– Чуешь дальний тихий арфы звон?
О, Весна! Ты здесь!
Тебя я слышу!¹³

Его не смущали удивленно-насмешливые взгляды окружающих, он был весь поглощен стихотворением – и мной. Декламируя, он не сводил с меня глаз, он не просто читал – он дарил мне это стихотворение, а вместе с ним – себя. Когда мы встали и пошли, он взял меня за руку, и я не отняла ее.

* * *

С полудня следующего дня и до конца слета мы почти не расставались. Я больше не показывалась на глаза Хельмуту и не принимала участия в диспутах. Мы с Каспаром бродили по городу, слушали выступления музыкальных групп, смотрели театрализованные представления, танцевали. Увидев группу гэдээровских и западногерманских студентов, одни – в синих рубашках, другие – в джинсах, мы присоединялись к ним и за несколько дней завели множество интересных знакомств. Один вечер мы провели на квартире у Ингрид.

За этим вечером последовали другие. Чаще всего мы встречались у Ингрид, иногда ходили в театр или в кино, потом в пивную. Обычно нас было человек десять, иногда больше, иногда меньше. Среди них две парочки, остальные просто товарищи. Мы говорили обо всем на свете, от любви до политики, обсуждали книги, которые они приносили с собой из Западного Берлина, и наши книги, которые мы давали им. Мы читали вслух любимые стихи и слу-

¹³ Стихотворение немецкого поэта Эдуарда Мёрике (1804–1875). Перевод Светланы Валиковой.

шали любимую музыку. Благодаря пластинкам, которые приносил Штефан, я познакомилась с джазом, пластинки Маттиаса открыли мне Бенна¹⁴, которого у нас не печатали, а Вестфаль так читал Гейне, что у меня сердце колотилось как бешеное.

Прочитав «Немного Южного моря» Канта, «След камней» Нойтша и «Описание одного лета» Якобса, наши западные друзья спросили нас, встречали ли мы когда-нибудь таких коммунистов, какими они предстают в книгах – преданных партии и с нерушимой верой в груди, но при этом не узколобых, прямых и честных, строгих к другим и к себе и всегда готовых выручить в беде, скорых на суровую критику, но и щедрых на поддержку и помощь, не помешанных на карьере, не жаждущих чинов и постов, свободных от тщеславия? Мы долго думали. На предприятиях, где мы работали, нам такие не попадались; большинство рабочих, с которыми мы там имели дело, были толковыми и надежными тружениками, но они думали о чести рабочего и о заработной плате, а не о партии, попытки которой руководить ими вызывали у них добродушную или злую иронию. Наши учителя были либо узколобыми фанатиками, либо честными и здравомыслящими людьми, держащими по отношению к партии осторожную дистанцию. У некоторых из нас были отцы и матери, состоящие в СЕПГ. И хотя с политической точки зрения они уважали своих родителей, но все же не могли не видеть слишком явных противоречий между преданностью партии и верностью профессии, с одной стороны, и дружескими и родственными связями – с другой, чтобы считать их идеальными коммунистами. Нет, мы не могли назвать примеры, которых от нас ждали.

Но от веры в новую эру меня освободил не этот опыт, и не «Диалектика без догмы» Хавемана¹⁵, и не его судьба, и не травля Бирмана¹⁶. Я не сама порвала со своей верой. Я даже не осознавала, что отхожу от нее. Она просто кончилась, как кончается зима с наступлением лета или голод с приемом пищи. Было слишком много более важных вещей: разговоры с друзьями, новая литература и новая музыка и то, что рождалось между мной и Каспаром. К тому же вера в новую эру мне не нужна была больше как прибежище, в котором я спасалась от своего дома с отцом-убийцей, с бабушкой, с матерью и сестрами. Я нашла прибежище в другом месте. Жизнь была в другом месте.

* * *

На первый вечер в квартире Ингрид я шла с замиранием сердца. Я не была там с того самого дня, когда порвала с Лео. Каспар, словно чувствуя мое состояние, взял меня за руку, пожал ее и улыбнулся. Мы встретились на станции «Фридрихштрассе». Обнялись. Еще во время слета молодежи мы иногда ходили с ним за руку, а прощаясь по вечерам, коротко обнимались. Но ни разу не поцеловались.

Мы сблизилась; было ясно, что между нами зреет что-то доброе, светлое, но мы еще не знали, что это. Когда перед домом Ингрид он сжал мою руку, я поняла: он мог бы меня приручить.

Мы встречались не только в компании, но и вдвоем. Мы стали тем, что называется гёрлфренд и бойфренд, но до конца летнего семестра не признавались в этом даже самим себе, не говоря уже о других. Когда-то я хотела, чтобы мы с Лео стали парой, но это было глупое и искусственное желание; мне больше не хотелось обрести этот статус. Каспару мешал переступить черту его страх показаться навязчивым; он боялся не только внешнего проявления навязчивости, но даже чувств, требующих от другого больше, чем тот сам готов дать. Но мы

¹⁴ Готтфрид Бени (1886–1956) – немецкий эссеист, новеллист и поэт-экспрессионист.

¹⁵ Роберт Хавеман (1910–1982) – немецкий химик, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

¹⁶ Вольф Бирман (р. 1936) – немецкий бард, один из известнейших диссидентов в ГДР.

были влюблены друг в друга. Я – с тех пор, как он в праздничной сутолоке, посреди толпы, самозабвенно, не видя и не слыша ничего вокруг, кроме меня, возложил к моим ногам стихи. А он, по его словам, влюбился в меня на Бебельплац.

– А почему именно там?

– Потому что ты говорила о политике не с остервенением, как другие, а с легкостью. Как будто это просто игра. – Он покраснел. – А еще потому, что ты потрясающе выглядела. То есть ты и сейчас выглядишь потрясающе, но тогда я видел тебя в первый раз. – Он смущенно потупил глаза, потом опять посмотрел на меня и сказал: – Ты самая красивая женщина из всех, кого я когда-либо видел.

Я рассмеялась.

– Можешь смеяться, сколько хочешь, но это правда.

Мы лежали в Трептов-парке, у самого берега Шпрее, на его выдавшей виды американской военной куртке. Опершись на локти, он обвел взглядом окружающий пейзаж.

– Красота, конечно, не главное... – произнес он задумчиво. – В Берлине многое не назовешь красивым, и в Восточном, и в Западном. И все же это хороший город.

Меня немного обидело то, что он сразу же поспешил приглушить сделанный мне комплимент, но я не подала виду.

– А что, по-твоему, главное?

– Желание делать что-то снова и снова. Например, снова и снова идти по какой-то улице. Снова и снова перечитывать какую-то книгу или слушать какую-то музыку. – Он сел и повернулся ко мне. – Снова и снова смотреть на чье-то лицо.

– А что вызывает это желание?

– Не знаю, – ответил он, медленно качая головой. – Вернее, иногда знаю, иногда нет. Например, твой взгляд, несколько секунд назад еще мечтательный, рассеянный и вдруг сосредоточенный, как взгляд флейтистки или скрипача, когда во время телетрансляции концерта неожиданно попадает в кадр. Или то, как смеются твои глаза, когда ты смеешься... Как твои губы становятся тонкими, когда ты возмущаешься. Как горят твои щеки, когда ты волнуешься или только что пробежала пару сотен метров... – Он рассмеялся. – Когда мы на Александерплац неслись на электричку, я уже предвкушал эти твои пылающие щеки.

Я была вполне удовлетворена услышанным. Я вообще была довольна всем, что происходило между нами в эти два месяца, с середины мая до середины июля. Ему нужно было до полуночи успеть вернуться в Западный Берлин, у нас не было ни одной ночи, он не мог показать мне свой мир, мы никуда не могли вместе поехать. Но мы радовались тому, что у нас было: ходили в театр, гуляли в Монбизу или в Трептов-парке, валялись на берегу Шпрее на моем пледе, курили его сигареты, читали, говорили, обнимались.

Мне вполне хватало того, что мы имели, и не хотелось больше ни о чем думать. Ни о том, что будет дальше, ни о ребенке, ни о себе, ни о нас с Каспаром.

* * *

Ни об одной книге мы не спорили так, как о «Расколотом небе» Кристи Вольф¹⁷. Кто был прав – Рита, оставшаяся в ГДР, или покинувший ее Манфред. Главным защитником Риты был мой одноклассник Фолькер, который сразу же после возведения стены бежал на Запад, а через несколько дней вернулся назад. Некоторых людей, говорил он, невозможно вырвать из одной почвы и пересадить в другую; в родной земле – плоха она или хороша – их корни, и только на

¹⁷ *Кристи Вольф* (1929–2011) – немецкая писательница, действительный член Академии искусств, лауреат многих литературных премий, широко известна и признана во всем мире. Большой читательский успех принесли Кристе Вольф ее исторические и мифологические повести.

этой земле они могут расти и развиваться. Ему возражали, что Рита не имела в этой земле таких уж глубоких корней; она приехала в город из деревни, бросив свою конторскую жизнь и решив учиться и стать педагогом. Маттиас и Штефан с одобрением относились к тому, что она, несмотря на недостатки социалистической системы, сохранила веру в идею социализма; христиане, мол, тоже верят в справедливость Бога, хотя в реальной жизни со справедливостью все не так просто. Гэдээровским студентам эта вера Риты казалась идеализированной и романтизированной, а западногерманские считали, что автор, изображая разочарование Манфреда, явно перестарался в стремлении разжалобить читателей. Что же это было за чувство, которое объединяло Риту и Манфреда и которое не помешало им расстаться? Политическая противоположность Запада и Востока, несовместимость социалистического и капиталистического образа жизни, разница в происхождении, положении и возрасте? Разность характеров? Или они просто разлюбили друг друга и стали друг другу чужими, как это часто бывает? Может, их небо расколосось еще до возведения стены? Был ли этот раскол результатом политического развития или все зависит от людей – быть небу расколотым или целым?

Второго июля мы лежали на траве на берегу Шпрее. Каспар принес шампанское и бумажные стаканчики.

– А за что мы пьем?

– За мой день рождения. И за будущий год.

Мы чокнулись. Я пожелала ему счастья, поцеловала его и вопросительно на него посмотрела. Что же нас ждет в будущем году?

– Для меня небо не расколото. Это Божье небо, оно высится надо мной, где бы я ни был – ты же помнишь это стихотворение Гейне¹⁸. Я перееду сюда.

Я покачала головой.

– Если я тебе нужен.

Я обняла его за шею.

– Ты забыл, как там у Гейне дальше? Что звезды горят над ним в этом ночном небе, как поминальные свечи... Божье небо укрыло его, лишь когда он умер, – эти строки написаны на его могиле.

– Я узнавал: многие западные немцы переезжают в ГДР. Сначала они попадают в фильтрационные лагеря, их там проверяют, и, если они не шпионы, не идиоты и не уголовники, их через пару недель выпускают, и они живут здесь, как все остальные. Я вряд ли стану бравым социалистом и вряд ли сделаю солидную карьеру, но мне это и не нужно. Я найду себе занятие. Мы найдем себе занятие.

Меня вдруг охватил ужас. Я с содроганием представила себе, что остаюсь в ГДР. И у меня перед глазами вдруг со всей отчетливостью вырисовалось все, что родилось во мне за эти полтора месяца и чего я еще сама не осознавала. С ГДР меня больше ничто не связывало. Я больше не хотела никаких стараний и испытаний. Не хотела изучать экономику, тратить драгоценное время на ССНМ, студенческие бригады и помощь в уборке урожая, не хотела постоянно контролировать себя, кому и что я говорю. Я не хотела ждать никакой новой эры, никакой новой страны и никакого нового человека. Я не хотела ждать, я хотела жить. Я не желала довольствоваться крохотным клочком земли между Рудными горами и Балтийским морем – мне нужен был весь мир.

Я уже почти не слушала Каспара. Он говорил о профессиях и городах, о том, где и чем мы могли бы вместе заняться.

– Я хочу быть с тобой, Биргит, – сказал он, обняв меня. – День за днем. Хочу вечером засыпать, а утром просыпаться рядом с тобой. Скажи, я тебе нужен?

¹⁸ Речь идет о стихотворении «Где?» Генриха Гейне (1797–1856).

«Что он говорит! – думала я. – Только-только исполнилось двадцать, в первый раз по-настоящему влюбился... Переехать сюда и жить со мной... Что он знает о том, чего сам хочет?.. День за днем, вместе засыпать и вместе просыпаться – легко сказать! Мы еще ни разу вместе не засыпали и ни разу вместе не просыпались. Он спрашивает, нужен ли он мне. Я рада его видеть, слышать его голос, мне нравится прикасаться к нему, нравится, что он так предан мне, я знаю, что на него можно положиться, но любовь ли это? И станет ли это любовью, если я скажу «да»? Я не могу сказать «да», если мне надо будет жить с ним здесь, это я знаю. Я не хочу жить здесь – ни без него, ни с ним... Сказать «да», любить его, желать его – как это все не вовремя! Что он говорит в своей наивности, в своем простосердечии, в своей преданности! Что он говорит!»

– Я не хочу, чтобы ты переезжал сюда. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты тут не сможешь жить. Может быть, и смог бы, если бы хотел строить социализм. Но ты ведь не хочешь его строить. Я тоже не хочу здесь больше ничего строить. Я хочу на свободу.

Он не отстранился, не посмотрел на меня вопросительно, не стал возражать. Он молча стоял, обняв меня.

– Ну что ж... Тоже неплохо, – произнес он наконец тихо. – Значит, я вытащу тебя отсюда.

* * *

Я знаю, в этот момент я должна была сказать ему всю правду о себе. Я и представить себе не могла последствий своего малодушия. Что мне придется постоянно быть начеку, постоянно держать включенным некий ограничитель, проявлять осторожность в отношении Каспара, которая будет стоять между нами незримой стеной. Не потому, что я боялась нечаянно проболтаться. Просто когда я собираюсь открыть сердце и поделиться чем-то сокровенным, этому всегда предшествует момент внутренней остановки: а надо ли? Или, может, лучше оставить это в тайнике, дверцу которого я всегда держу закрытой и содержимое которого хотела бы забыть? Даже когда мы любим друг друга, я всегда начеку и не отключаю «ограничитель». Нам до сих пор хорошо друг с другом, но мы не потерялись друг в друге.

После того как я не сказала ему, что беременна, мне пришлось потом скрыть и то, что я родила дочь и что я с ней сделала. Не могу я сказать ему и то, что хочу ее найти. Когда я ночью резко просыпаюсь, а потом не могу уснуть и он спрашивает, что со мной, я отмахиваюсь. Он радуется, глядя, как я играю с детьми, но не понимает, что во мне происходит. Не понимает он и моего нежелания рассказывать и вообще говорить о том, что я пишу; он страдает от этого, ему больно, и мне тоже больно, оттого что я причиняю ему боль, но я не могу сказать ему, о чем я пишу – о себе, о своей дочери, о своей тоске по ней.

Я не знала, какие разрушительные последствия может иметь молчание. А если бы и знала, если бы могла просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, – что бы это изменило? Он хотел жить со мной; если не там, то здесь. Он хотел вытащить меня оттуда. Меня, а не меня с ребенком. Да и насколько это было возможно? Я не раз слышала о людях, которые бежали на Запад, спрятавшись в машинах, в поездах или на судах, через туннели, по Балтийскому морю, через чешскую или венгерскую границу, – все эти варианты не годятся для бегства с детьми, которые не могут долго сидеть в укрытии и не шевелиться; риск слишком велик. Да и захотел бы он вообще продолжать отношения со мной, узнав, что я жду чужого ребенка? Или что я, желая уехать на Запад и не имея другой возможности, готова предать и бросить своего ребенка? Какая женщина, какая мать способна на такое?

Я знала, что Каспар не просто изъявил готовность вытащить меня из ГДР, потому что его обязывала к этому ситуация; это и в самом деле было для него нечто само собой разумеющееся. Я была нужна ему, и то, что я не попыталась освободиться из его объятий, когда он сказал: «Тоже неплохо», он воспринял как подтверждение того, что и он был нужен мне. Я не

решилась поставить это на карту. К тому же я подумала, что наша любовь перенесет меня через все трудности и препятствия. Четкость, уверенность и решительность Каспара были настолько убедительными, настолько подкупающими, что я решилась. Это был прыжок. Я сбросила с себя все сомнения, как одежду на берегу, и прыгнула в любовь к Каспару.

С того самого дня, со второго июля 1964 года, дня его рождения, я люблю его. После окончания семестра он собирался на практику в издательстве, в свой родной город. Я сказала ему, что еду со студенческой бригадой на Балтийское море, где мы будем работать в пансионе. Мы договорились не писать друг другу: нам не хотелось, чтобы цензоры читали наши письма. Мне было грустно от предстоящей долгой разлуки, но я ее не боялась. Я не сомневалась, что вновь увижу его и что он вытащит меня из ГДР. Я была уверена в этом. И уверенность в его любви ко мне вселяла в меня уверенность в моей любви к нему.

Мы провалились на траве у Шпрее до темноты. Рассказывали друг другу о своих родителях, братьях и сестрах, о том, что для него значила церковь, а для меня партия, чем мы увлекались и кем восхищались, о первых школьных романах и поцелуях. Ревновали друг друга к прошлому и смеялись над собой. Я хотела рассказать ему о Лео – не о том, как все произошло, а просто, что это было, но не решилась.

До конца семестра мы встретились еще раз или два. Но для меня второе июля стало «свиданием и разлукой»¹⁹. Нам предстояла разлука, но мы заключили союз на всю жизнь. День был жаркий, и ночь обещала быть теплой. Волны Шпрее плескались о берег, где-то вдалеке кричали и смеялись дети, пел дрозд. Потом стало тихо-тихо. Каспар вполголоса, почти шепотом произнес:

И всё, лучась приветом,
под сумеречным светом
обнял ночной уют.
Мир кажется светлицей
с пылающей жар-птицей,
где беды стихнут и заснут...²⁰

Я, закрыв глаза, с тихой радостью подумала, что у него хватит для меня стихов на всю оставшуюся жизнь. Мне захотелось уснуть в его объятиях и проснуться утром.

* * *

У Паулы была дача на Дарсе²¹. Ее дед перед войной построил там сарай, где хранил лодку и рыболовные принадлежности, а она пристроила к нему маленькую ванную, кухню и еще одну комнату. Интересно, эта дача еще существует? Ее ведь должны были снести. Паула, занимаясь обустройством дачи, меньше всего думала о строительном законодательстве, а местные власти закрывали на это глаза, боясь громких конфликтов с многочисленными дачниками, которые тоже нарушали все строительные нормы.

Дача находилась на берегу Боддена²², на опушке леса, довольно далеко от моря, от пляжей и пансионатов. Людей мы там встречали, только когда ходили за покупками, катались на велосипедах или гуляли по дальним окрестностям. Я была этому рада. Когда мой живот заметно

¹⁹ Намек на известное одноименное стихотворение И. В. Гёте.

²⁰ Отрывок из стихотворения «Вечерняя песня» немецкого поэта и публициста Маттиаса Клаудиуса (1740–1815). Перевод Владимира Кормана.

²¹ Дарс – центральная часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингт на южном побережье Балтийского моря.

²² Грайфсвальдер-Бодден – залив на юге Балтийского моря у берегов земли Мекленбург – Передняя Померания.

увеличился, Паула стала ходить в магазин одна. Я не хотела, чтобы меня видели беременной, а потом спрашивали о ребенке.

С Паулой мы были знакомы с детского сада. Мы держались вместе, потому что нас обеих дразнили – меня за длинные косы, которые меня заставляла носить мать, а ее за красное родимое пятно на пол-лица, от правой щеки до виска. В политехнической средней школе мы сидели за одной партой и были неразлучными подругами, пока она не поступила в медицинское училище в Эрфурте; я же осталась в Берлине и заканчивала двенадцатилетку. В этом году, в октябре, она должна была начать работу; все лето у нее было свободно, и она пригласила меня к себе на дачу, еще не зная о Лео, о моей беременности и о Каспаре. Позже она мне призналась, что, как только увидела меня, сразу же заметила, что я беременна. Но спрашивать ни о чем не стала. Через две недели я сама ей все рассказала.

В ее дружбе и понимании я не сомневалась, но все же со страхом думала о том, как она отреагирует на мой рассказ и на мои намерения. Мы сидели на длинных мостках, протянувшихся от берега через камыши, свесив ноги в воду. Она всегда старалась сидеть справа от меня, хотя я давно уже привыкла к ее родимому пятну, и оно мне даже нравилось: благодаря ему ее усеянное веснушками лицо в обрамлении рыжих волос как будто светило. Такой я представляла себе ирландскую Кармен. Она сидела рядом со мной так красиво, так спокойно и уверенно, что я оробела. Как торопливо, лихорадочно я жила, как быстро оказалась в омуте и как неожиданно приняла решение!

Я рассказала ей все: о Лео, о беременности, о Каспаре, о том, что больше не хочу жить в ГДР, и о том, что он решил вытащить меня отсюда. О том, почему не могу оставить ребенка себе и не хочу отдавать его Лео.

– А что ты собираешься с ним сделать?

– Оставить на пороге какой-нибудь больницы или детского дома или подкинуть какому-нибудь священнику.

Она коротко взглянула на меня, словно желая удостовериться, что я все еще сижу рядом.

– И что будет с твоим ребенком? Кто-нибудь усыновит его, или он останется в детдоме... Если будет плохо себя вести, переведут в другой, потом в третий, один страшнее другого. Тебе это безразлично?

– Я об этом еще не думала.

– Ну так подумай. Я не знаю твоего Лео, то, что ты мне рассказала о нем, не вызывает у меня восторга, и я понимаю твое нежелание отдавать ему ребенка. Но речь идет не о тебе, а о ребенке.

– Любой приемный отец, любой детдом лучше, чем Лео. Лео – подонок!

– Ах, Биргит... – Она покачала головой. – Как ты себе это представляешь? Ты не хочешь ребенка, не хочешь даже видеть его, и взять на руки, и дать ему грудь. Ты хочешь сразу же после родов сесть на велосипед и отвезти его к ближайшему священнику? Ты этого сделать не сможешь, это придется сделать мне. Я должна буду сыграть роль акушерки, а потом увезти ребенка прочь – с глаз долой, из сердца вон?

– Я же говорю: я еще не думала над этим как следует. Время еще есть.

Она посмотрела на мой живот.

– Три месяца?

– Три месяца. Может, два.

Она перевела взгляд на воду и прищурилась, словно стараясь рассмотреть лебедей, или лодку с рыбаком, или баклана, сидевшего на полусгнившем столбике в конце мостков.

– Думать тут нечего. Надо решать. Но без меня ты ничего решать не можешь, потому что я нужна тебе. Мне все это не нравится – ни идея с подкидышем, ни сама перспектива для него – вырасти в чужой семье и тем более в детдоме. Если ребенок не нужен тебе, значит

он принадлежит отцу. А ему он нужен. Кто тебе сказал, что он будет плохим отцом? Не такой уж он подонок, если ты смогла в него влюбиться и спать с ним.

С того дня Паула не давала мне покоя. Как бы я ни осуждала отца – разве не лучше было бы, если бы он не погиб, а вернулся с фронта живым? Пусть Лео использовал меня. Но разве это не говорит о том, что он и в самом деле мечтал о ребенке и что он будет любить его и заботиться о нем. Я хочу бежать. Но разве не лучше было бы сначала довести здесь все до конца, а потом уже бежать, со спокойной душой и чистой совестью? Лео – негодяй, а я – жертва. Так ли это на самом деле? Еще неизвестно, кто кого в большей мере соблазнил. И почему я не предохранялась? Хотела привязать его к себе ребенком?

Что я могла ей возразить? Я знала, что мой ребенок ни в коем случае не должен достаться Лео. Я знала это своей головой и своим телом. Знала настолько твердо, насколько вообще можно что-то знать. И знаю это до сих пор. Я не машина для производства детей, а мой ребенок не предмет, который достают из этой машины, бросив в монетоприемник фальшивую монету. Я знаю, что бывают плохие приемные родители и жуткие детдома. Но бывают и другие, добрые, любящие приемные родители и детдома, в которых работают достойные педагоги. А если ребенку не повезет, он может вырасти настоящим человеком и в плохом детдоме.

Я уверена, что моя дочь не пострадала. Что она, когда я ее найду, окажется сильной, жизнерадостной и счастливой молодой женщиной. Если я ее найду... Почему эти поиски – такое тяжелое дело, почему я никак не могу их начать? К тому же мне надо найти ее не слишком рано. Она должна стать уже относительно зрелой женщиной с определившейся жизнью, с семьей, с профессией, уже получившей от судьбы кое-какие уроки. Иначе как она сможет меня понять?

В конце концов Паула сдалась.

– Ну, не можешь, значит не можешь. Я увезу ребенка. Надо будет заранее одолжить у кого-нибудь машину.

* * *

Это лето на Дарсе навсегда останется в моей памяти светлым пятном. Я вставала рано, варила кофе и шла с чашкой на мостки. Часто наблюдала восход солнца, которое расцветивало туман над водой и камышом и окрашивало нежным румянцем небо. Оно вставало из дымки алым шаром, а потом разгоралось в лазури ослепительным золотом, и я ложилась на спину на теплые доски мостков и смотрела ввысь, искала глазами утреннюю звезду, ждала орланов и слушала пение птиц и кваканье лягушек. Иногда засыпала.

Днем я тоже часами сидела на мостках, с удовольствием читала «Войну и мир», но продвигалась медленно и до конца так и не дочитала. Я то и дело погружалась в грезы, потом, встрепенувшись, читала дальше, но вскоре Наташины надежды, или Сонины скромность, или неловкость Пьера опять возвращали меня к моим собственным мыслям и чувствам, и я опять уплывала куда-то вдаль. Я представляла себе прощание с бабушкой, с матерью и сестрами, рисовала себе картины мести Лео, думала о бегстве, о реакции моего профессора, который мне нравился и которому нравилась я, вспоминала разговор с Фолькером о бегстве, о жизни на чужбине и возвращении, пыталась представить свою жизнь на Западе с Каспаром и без него. Я вспоминала детство, игру в классики на улице, малиновые карамельки в высоком стеклянном стакане в нашем магазине, булочки с изюмом в соседней кондитерской, карусель на рождественской ярмарке, высокие каштаны на школьном дворе, прием в пионеры и горделивую радость обладания синим галстуком. Вспоминала мучительную скуку воскресных прогулок. Тогда меня удручало это замирание жизни, сейчас я была счастлива оттого, что мне не надо было ничего делать – только ждать. Причем это было даже не ожидание: ожидание – это тоже действие, а я бездействовала. За меня трудилось время: оно шло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.